

П. МАРИКОВСКИЙ

ПУТЬ НАТУРАЛИСТА

Литературная редакция и примечания – Ян Липмас. Орфография автора по возможности сохранена.

Содержание

От автора
Детство
Знакомство с природой
Станция Вяземская
Город Хабаровск
Отряд пионеров
Мечты стать путешественником
Окончание школы
Первая экспедиция
Я – учитель
Сельские будни
Институт защиты растений
"Уполномоченный защиты растений"
Городок на реке Сантахеза
Город Уссурийский
Медицинский институт
Кафедра общей биологии
Экспедиция по реке Иман
Экспедиция по реке Бикин
Студенческие будни
Творчество
Годы Великого террора
Поездка в Игрису
Годы войны
Демобилизация
Город Алма-Ата
Пустыни, жизнь насекомых и жизнь человеческая
Старые зоологи В.Н. Шнитников и Б.К. Штегман
Рисунки на скалах
Киргизия
Томский университет
И снова алма-атинские будни...
Мои книги о природе
Жизнь пенсионная
Итоги труда

От автора

В годы Великой Отечественной войны, незадолго до своей кончины, отец написал рукопись на трехстах страницах о своей жизни, озаглавив ее "Путь учителя".

Повествование отца мне показалось очень интересным не только как повествование о судьбе очень близкого мне человека, но и как свидетельство о том времени, в котором он жил. Отец, учитель, хорошо владел литературным языком и писал чернилами пером сразу начисто. Рукопись отца можно было бы опубликовать, но, к сожалению, его жизнь прошла в трех географически разных территориях: Украине, Дальнем Востоке и Узбекистане, что смущало с чисто формальной стороны издательства, пораженные общим недугом бюрократизма. Так она и пролежала полвека у меня.

Недавно, просматривая рукопись, мне пришла мысль последовать примеру отца и тоже, хотя бы коротко, описать свою жизнь. По случайному совпадению она тоже протекала на трех, далеко отстоящих друг от друга, территориях: Дальнем Востоке, в Сибири и Средней Азии.

Поэтому я сел за машинку без какой-либо уверенности на публикацию, тем более сейчас, после развала Советского Союза, когда страны СНГ переживают трудные времена так называемой перестройки, сильно сказавшейся на издательском деле. И всё же мне хотелось рассказать о своей вымирающей профессии натуралиста-зоолога.

Я счастлив, что с детства полюбил природу и сохранил эту любовь до конца жизни и, кроме того, приученный к труду или, быть может, получив к нему склонность по наследству от родителей, находил в ней отраду в тяжкие годы жизни моего поколения.

Надеюсь, что читатель, особенно горожанин, пораженный недугом катастрофически разрастающейся урбанизации, узнает кое-что интересное и заслуживающее внимания. В органической жизни нашей уникальной планеты так много поучительного и способного пробудить внимание и беспокойство за её судьбы.

ДЕТСТВО

О своей бабушке по линии матери я ничего не знаю и жалею, что своевременно не расспросил о ней. По-видимому, она рано умерла, так как моя мать Фекла Филипповна воспитывалась в семье священника на положении сироты-родственницы. Отца ее, Филиппа Фростель, моего деда, забрали, как тогда говорили, в николаевские солдаты, и он прослужил в царской армии без малого положенные в то время четверть века. Потом мать, уже будучи на Дальнем Востоке замужем, навестив родину, выхлопотала своему уже старому отцу, давно возвратившемуся из армии, положенную по закону пенсию и он, как рассказывала мать, был безмерно рад и благодарен дочери.

Матушка, хорошо сложенная, красивая, с могучей копной черных волос, прекрасно пела и голос её звонкий и чистый, когда я её вспоминаю, звучит во мне до сих пор. Она знала величайшее множество украинских народных песен. Видимо её любовь к пению отразилась на мне, и я, не обладая голосом, но хорошим слухом, часто мурлыкал себе под нос или насвистывал различные песенки, перенятые от неё, отрешившись от этой привычки лишь в пожилые годы очерствения души от забот, множественных неприятностей и отчасти от болезней.

Мать родилась в селе Сумовка Ольгопольского уезда, если не ошибаюсь, в то время Каменец-Подольской ¹ губернии. Её первый муж, тоже украинец, Дионис Андреевич Балан, освоив профессию бухгалтера или что-то вроде этого, переехал на Дальний Восток в город Хабаровск. В то время Амуро-Уссурийский край, как он именовался географами, в обывательском представлении считался страшно далекой окраиной, находящейся едва ли не на конце света. От брака с ним родилось четверо детей: Николай, Валериан, Елена и Вячеслав. Муж любил выпить, хорошо поесть, сильно располнел и неожиданно рано умер, как тогда говорили от апоплексического удара, оставив жену без средств к существованию. Перед смертью, парализованный, он всё время пытался что-то показать моей матери, как она потом поняла - советовал уничтожить бухгалтерские записи. Он вёл какое-то коммерческое дело с компаньоном Вильневичем. После смерти Балана этот компаньон дочиста ограбил вдову, забрав себе и чужую долю участия в деле.

Отец мой родился в том же селе Сумовка. Возможно, они вместе и переехали на Дальний Восток, покинув родину, дружил с Дионисом Баланом, был красив, худощав, высок, весел, шутлив, голубоглаз и черен волосами. На родине он начал трудиться учителем самой низшей церковно-приходской школы, зависящей целиком от священника. Постепенно, сдавая экзамены, он поднялся до преподавателя реального училища. Семья, в которой воспитывался отец, была большая: четыре дочери (Анна, Саша, Женя, Анисья) и шесть сыновей (Трифон, Иустин, Федор, Андрей, Иван, Федот). Мой дедушка по отцу тоже был учителем, очень любил музыку, пение и в селе руководил хором. Недавно мне написала одна из дальних родственниц из Кишинева, внучка брата отца Ивана А.Коваль, и сообщила многие подробности о семье Мариковских.

Дети получили по тому времени образование, кроме Федота, одного из всех оставшегося в деревне. Потом Федота мобилизовали на какую-то перевозку петлюровцы и расстреляли, когда он отказался отдать им лошадь. Мой дед, будучи учителем, познакомился с молдаванкой, хорошо говорившей по украински и женился на ней, вопреки желанием её родителей. Что тогда представлял собою сельский учитель, не имевший ни земли, ни хозяйства, ни имущества, то есть того, что полагалось для будущего семьянина! Он был очень способен, самостоятельно изучил немецкий язык и читал на нём книги. Вообще любил старинные книги и, как вспоминал отец, часто засиживался над ними, разбирая трудные и сложные тексты. Хор, руководимый им, пользовался большим успехом в округе, и его часто приглашали к себе помещики.

Жили трудно, бедно. Отец вспоминает как забирался на дерево, чтобы спокойно съесть кусок хлеба, уединившись от жадно взиравших на него

голодных собак. Из всех братьев только мой отец да его брат Андрей, ставший чиновником, переехали на Дальний Восток.

Сперва отец приехал к брату Андрею, хорошо устроившемуся во Владивостоке. Здесь отец некоторое время работал служащим на железной дороге, но вскоре перешел на свою родную профессию учителя. В то время люди умственного труда получали хорошее жалование. Жениться отец не спешил. Его невеста, жившая на Украине, умерла от чахотки (так прежде называли туберкулез), и все её братья и сестры тоже постепенно погибли молодыми от этой, тогда страшной, болезни. Судя по всему, свою невесту он очень любил, и помню её портрет, увеличенный и в рамке, долго висел на стене его комнаты.

Не знаю, почему отец уехал из Владивостока и оказался в Хабаровске, где и стал учительствовать, а когда его друг Балан умер, он стал помогать вдове - моей будущей матери - и вскоре на ней женился, усыновив её четырех детей: Николая, Валериана, Елену и самого младшего и более всех близкого мне - Вячеслава. Из Хабаровска отец переехал вместе с семьей на станцию Вяземскую, отстоявшую от города километрах в ста пятидесяти, где стал заведовать школой. Там, в 1912 году в конце июля, родился я, а затем через пару лет появилась на свет и моя сестра Галина.

Мои родители – украинцы, и чувство принадлежности к этой нации славян у меня в какой-то мере сохранилось, хотя я не знал украинского языка и не жил на Украине, считая себя русским. И в паспорте, когда его получал, записался русским. Мне кажется, что это чувство принадлежности к Украине у меня сохранилось только благодаря песням, напевавшимся матерью, хотя мои родители, насколько я помню, уже никогда не говорили на родном языке. Между прочим, как-то разглядывая чудом сохранившееся свидетельство о своём рождении, а также свидетельство о рождении отца, с удивлением обнаружил, что в нём не указывалась национальность. Оказывается в России до Октябрьской революции в свидетельствах о рождении упоминалось только вероисповедание. Зато при Советской власти, как теперь оказывается весьма недальновидной, "объединявшей все народы в единую семью рабочих и крестьян", стали записывать национальность, и это правило сохраняется до настоящего времени.

Самые первые мои воспоминания туманны. Помню: лежу на кровати в небольшой комнате, возле меня - несколько человек. Кто-то большой входит через дверь. Когда это было? Видимо, очень рано. Другое, следующее за первым, воспоминание отчетливее: снег, холодный ветер, я на руках отца. Он мне кажется очень большим, держит меня высоко над землей, куда-то меня несет. Останавливается, как потом я понял, возле телеграфного столба. На нём от ветра гудят провода. Отец обращает на них мое внимание. Когда юношей я вспомнил этот эпизод, отец сказал, что у меня воспалилось ухо, и он понес меня в больницу. Тогда мне было два года.

Ещё одно раннее воспоминание, относящееся ко времени жизни на станции Вяземская, запечатлелось в памяти. Вечером вижу, как в ясном темнеющем небе медленно всходит луна. Она показалась вся из-за забора, и тогда я настойчиво потребовал от родителей, чтобы мне её непременно достали. Взрослые стали громко смеяться, я же - горько протестовать и плакать...

На Вяземской пробыли недолго. В 1914 году началась Первая мировая война, и отца призвали в армию, назначили в чине подпоручика на службу в интендантское управление по квартирному довольствию войск города Хабаровска. Поселились мы в длинном одноэтажном здании, почему-то называвшемся "харбинским баракком" (их стояло рядом несколько одинаковых) на "Военной горе" на Поповской улице, которая шла к Амуру и мосту через него. Впоследствии её переименовали в улицу Калинина. Дом этот помню хорошо, как и детство, проведенное в нём.

В этом же баракке ещё жил офицер-топограф Пузанов вместе с женой и дочерью. Его жену, очень приветливую Надежду Константиновну (про неё говорили, что она "институтка", воспитанница института благородных девиц), и её дочь Ольгу вспоминаю отчетливо. Обе женщины, не знаю за что, благоволили ко мне и подарили серебряный, с открывавшейся как у карманных часов крышкой, компас в коробочке. На крышке была фотография матери и дочери. Подарок очень дорогой, и чем больше я вырос, тем больше его ценил. Но во Владивостоке в 1939 году у меня его украли. До сих пор помню эту коробочку с фотографиями и компас.

Жили мы тогда, как я догадываюсь, в материальном отношении хорошо, хотя мать, скорее всего по крестьянскому укладу жизни или, быть может, ради нас, детей, держала корову, иногда свинью. У отца был деньщик - добрый малый. Когда меня отец первый и единственный раз в жизни за что-то наказал (скорее всего за упрямство), и я горько плакал, деньщик меня всячески утешал и подарил маленький граненый стеклянный стаканчик. Мне этот стаканчик показался прекрасным. В то время игрушек у нас было мало. После этих двух подарков я всегда ценил проявление доброты от людей и никогда её не забывал.

Отец - либерал, как тогда называли людей передовых взглядов, - часто отпускал деньщика вечерами гулять, за что добрый малый поплатился жизнью: из ревности его покололи ножами. Израненный, он кое-как ночью тайком добрался домой, и, никого не позвав на помощь, истекая кровью, помер. С величайшим страхом смотрели мы на белую стенку возле его кровати, забрызганную кровью. За гибель деньщика отца лишили права иметь солдата-помощника.

Рядом с домом находился пустырь, густо заросший высокими сорняками. Я любил бродить по этому пустырю, разглядывать растения и копошившихся на них насекомых. Иногда, усевшись на сорванное крупное растение и размахивая проволокой, рубил направо и налево сорняки, воображая себя воином-кавалеристом, бьющимся с многочисленными и злыми врагами. По-видимому, эта игра была отзвуком разговоров взрослых о войне с Германией.

Недалеко от нас, на углу Тихменевской улицы, находилась гауптвахта. Там часто стояли солдаты по стойке смирно с ружьями и полной выкладкой. Провинившийся не имел права шевельнуться. Мы бегали смотреть на несчастных и очень их жалели.

Как-то брат Вячеслав (мы с ним очень дружили), когда мне было немного более семи лет, взял меня за руку и повёл в школу. Просто так, сам по себе, никого не спрашивая. Учительница не удивилась новому ученику, не потребовала никаких справок, видимо в те времена они и не требовались. Тогда, в 1919 году, Дальний Восток ещё не был занят Красной армией, и в классной комнате, в углу,

стоял большой, метра два высотой, портрет царя Николая Второго. Тогда же ещё преподавали Закон Божий и, молясь, пели "Боже царя храни", хотя уже был совершен акт величайшего вандализма: царя, царицу, четверых детей вместе с прислугой и домашним врачом расстреляли в подвале какого-то дома, реквизированного у купца в Екатеринбурге. Никакого суда и следствия, разумеется, не было, для этого было достаточно приказа всемогущего Ленина, приказа, открывшего пропасть насилия над человеческой жизнью и личностью. Так было совершенно отмщение за казнь в 1887 году своего старшего брата, народовольца А.И. Ульянова, за подготовку покушения на жизнь царя Александра III. В России бушевала Гражданская война, война с собственным народом, сопровождавшаяся вседозволенностью, тиранией и попранием законов элементарной справедливости.

В годы НЭПа, когда я был уже подростком, хорошо помню, как против нашего дома в Хабаровске кто-то обронил газету. Я с интересом прочел в ней статью, в которой описывалось как были уничтожены царь и его семья. После их расстрела трупы казненных вывезли за город и там сожгли на костре. Крестьяне, копавшиеся в золе, оставшейся от костра, находили в ней слитки золота, образовавшиеся от расплавленных драгоценностей. Недавно останки царской семьи захоронили в Петербурге. Представители православной церкви выразили сомнение в их достоверности. О поисках останков царской семьи широко оповещалось в печати, но статья, которую я читал, и версия сожжения на костре никем не упоминались.

Возвращаюсь к воспоминаниям детства. Помню в первом же классе, когда я, будучи дежурным, читал перед началом уроков молитву "Отче наш, иже еси на небеси" и ошибся или запнулся, батюшка ударил меня по ладони линейкой. Я горько заплакал. Значение многих слов этой молитвы я не понимал и поэтому смысл её не мог запомнить как следует. Прошло более семидесяти лет и теперь, после всеобщего атеизма и недавнего возрождения в стране христианской религии и возвращения храмов, в Евангелии, присланном из Австралии, я прочел эту молитву уже в современном переводе и только тогда понял её духовный смысл и поэтику.

В двадцатые годы Великая смута докатилась и до нас. Дальний Восток занимала то Белая, то Красная армия, кроме того край оккупировали японцы и американцы. Со всеми ними воевали партизаны различных политических направлений. Американцев помню плохо, их было мало, но появилось сгущенное молоко "Нестле", казавшееся нам детям очень вкусным. У японцев же мы, мальчишки, выпрашивали мятные шарики. Достаточно было сказать любому солдату "Аната, зинта накудасай!", как мгновенно из кармана извлекалась железная коробочка, и из неё выкатывался маленький шарик, оставлявший во рту необычный вкус.

Не знаю как и на каких условиях в Хабаровске одновременно находились и «красные», и японцы-оккупанты. Тогда уже сказывалась война, в которую погрузилась страна, стало плохо с продуктами питания. Завели корову, свинью, кур. Отец уволился из интендантского управления, перебивался уроками. Четвертого апреля японцы объявили едва ли не дружбу с Красной армией, нацепив красные банты, ходили по казармам в гости с приветствиями и т.п.

Следующий день пятого апреля запомнился на всю жизнь. Рано утром мать снарядила меня и брата отнести кому-то молоко. Мы оделись, вышли из дома. Стояла прохладная погода. Мать, выйдя на крыльцо, о чем-то долго нас напутствовала. Мы пошли по Поповской улице к центру города. Вдруг затрещали выстрелы и засвистели пули, в том числе и мимо нас. Какой-то человек, упав ничком на землю, задергал ногами и замер. Брат быстро сообразил в чем дело, схватил меня за руку, и мы помчались изо всех сил домой. Оказывается, японцы коварно напали на красноармейцев и те, даже не успев как следует одеться, с винтовками в руках бежали по нашей улице к мосту через реку Амур. Потом по улице, прячась за здания, прошло несколько человек в форме китайской армии с большим развевающимся по ветру флагом. Видимо, какая-то миссия китайского посольства пыталась разведать в чем дело. Эта картина запечатлелась в моей памяти, её я увидел через окно, нарушив строгий запрет родителей выходить куда-либо из темного коридора, где пряталась вся семья во время военных действий. Тогда в Хабаровске жило много китайцев, и часть города, заселенная ими, даже называлась "Китайской слободкой".

Соседка Пузанова и её дочь затаскивали в дом раненых, перевязывали их и отпускали. Интендантское управление, в котором служил отец, уже принадлежало "красным". Незадолго до его расформирования выдали отцу большую косматую папаху. Отец прибежал домой часа через три после нападения японцев, полы его пальто оказались простреленными.

Вероломное и неожиданное нападение японцев на части Красной армии произошло в этот же день во всех городах Дальнего Востока - Благовещенске, Спасске, Никольск-Уссурийске, Владивостоке, Шкотово, Раздольном, Посъете. В Спасске бои продолжались десять дней, а в Никольск-Уссурийске военный путч не удался, и три тысячи японцев были истреблены партизанским отрядом Тряпицина и Лебедевой. После победы над японцами этот отряд уничтожил всех мирных жителей-японцев этого города, уцелела только одна девочка-японка, её припрятали русские обыватели. Потом, войдя в раж, отряд начал грабить и мирное русское население. Впоследствии Тряпицын вместе со своей сподвижницей Лебедевой попали в плен к красноармейцам и были расстреляны ².

Перестрелка в Хабаровске длилась несколько дней. Потом, когда части Красной армии отошли за Амур, взорвав за собой два пролета большого железнодорожного моста, начались повальные обыски населения японскими солдатами, сопровождавшиеся грабежами. У нашей соседки Пузановой солдат не мог снять с руки кольцо и, вынудив штык, собрался отрезать палец. Кое-как отговорили его от этой затеи, сняли кольцо, отдали грабителю. Ворвавшиеся к нам солдаты нашли злополучную папаху и, решив что её владелец – «красный» или, как тогда говорили японцы, "большевика", едва не закололи его штыками. Мать упала перед ними на колени, умоляла пощадить отца, пыталась объяснить, что он учитель. Мы, дети, плохо понимали трагизм происшедшего, но образ матери, стоявшей на коленях, запечатлелся на всю жизнь. Неминуемую расправу над отцом неожиданно предотвратил невесть откуда появившийся японский офицер. Сняв с рук белые перчатки, он отхлестал ими по лицу солдат и прогнал их. Офицер оказался нам знакомым. Задолго до интервенции недалеко от нашего дома он, будучи гражданским, содержал прачечную и знал нашу семью. Тогда мы

догадались, что он был японским разведчиком. Отца он, видимо, уважал за либерализм, простоту и приветливость. Как много в жизни значит случайность! Если бы тогда отец погиб, какой бы тяжелой оказалась судьба нашей большой семьи. А нашего хорошего знакомого, кондитера по профессии, пана Лисковского японцы подняли на штыки: у него нашли раненого красноармейца.

После нападения японцев мимо нашего дома по улице Поповской ломовые извозчики несколько дней везли трупы погибших красноармейцев и случайно погибших мирных жителей. Их тоже погибло немало, оказавшихся на площади перед бывшим кадетским корпусом, занятым под штаб Красной армии. Страшное это было зрелище для нас, детей.

Когда японцы завладели городом, «красные» обосновались на левом берегу Амура и оттуда кое-когда обстреливали город из пушек. Один снаряд залетел на крышу нашего дома, но не разорвался. Обычно снаряды, падая, взрывались, разбрасывая во все стороны крупные свинцовые шарики - шрапнель. Во время такого обстрела одна такая шрапнель попала в окно нашей квартиры, пробила стекло и проломила отверстие в картине, нарисованной на дощечке маслянными красками.

К чести японцев, через несколько дней после окончания боевых действий всё награбленное у населения возвратили владельцам. Дисциплина в японской армии существовала жестокая, офицеры безраздельно занимались мордобоем своих подчиненных, и эта варварская обстановка сохранилась и до поражения Квантунской армии в Маньчжурии в 1945 году.

В те смутные двадцатые годы власти часто менялись, перевороты, как их тогда называли, следовали один за другим, и не случайно в то время появилась такая частушка:

Мой милёнок, как телёнок, замаячил у ворот.

Я насмерть перепугалась, думала - переворот...

Городом периодически завладевали различные военные формирования. Банда атамана Калмыкова, уходя из города и зверствуя (дело было зимой), оставила на нашей улице трупы, наваленные друг на друга, полуголые, с ножами, вколотыми в грудь. Мы, мальчишки, бегали смотреть на эту страшную картину безрассудной дикости и зверства...

Наступила весна. В пригороде Хабаровска, тогда его называли Красной Речкой, отец держал пасеку. Корова и пасека, видимо, стали необходимым подспорьем в жизни, осложненной Гражданской войной и интервенцией. Пасеку следовало проведать, провести весенние работы. Но Красная Речка располагалась во владении «красных». Отец решил просить японское начальство разрешения посетить пасеку. Наши знакомые и друзья (в те давние времена люди были значительно более общительны, чем сейчас) отговаривали отца от этой небезопасной затеи. Но отец не послушался. Мысль о том, что пчелы пропадают в омшаннике (так называлось помещение для зимовки пчел), не давала ему покоя. Пропуск японское начальство дало, очевидно поверив в добрые намерения отца. Но едва отец перешел границу, разделяющую враждующие стороны, как его тотчас же арестовали, заподозрив в шпионаже. Никто не мог поверить, что в это страшное военное время ради пчел человек будет рисковать жизнью. Отцу грозил

расстрел. Его поместили в вагон для заключенных с зарешеченными окнами и привезли на станцию Вяземская, где в то время находился штаб.

В те тревожные дни мы находились в неведении: отец не возвратился к обещанному времени. Что-то с ним произошло. Какими-то путями знакомые узнали, что отца приговорили к смертной казни и уже, наверное, приговор приведен в исполнение. Но матери об этом не говорили, жалели её. Как-то нас всех пригласили в гости знакомые с забавной фамилией Кисель. Помню со второго этажа небольшого дома, расположенного близ оврага Чердынка, глядя из балкона на большую площадь перед длинным кирпичным зданием бывшего кадетского корпуса, я заметил далекую фигурку высокого мужчины. Он быстро шел крупными шагами. Эта фигурка и сейчас стоит перед моими глазами. - Посмотри, мама, ведь это наш папа идет! - сказал я уверенным тоном.

Мои слова вызвали неловкость среди присутствующих, никто мне не поверил, кто-то пытался перевести разговор на другую тему. У матери на глазах появились слезы. Она стала догадываться о неладном. Знакомые старались отвлечь её внимание от моих слов и, заметив это, она еще больше запечалилась.

С отцом, как оказалось впоследствии, произошло следующее. На станции Вяземская, глядя через решетку арестантского вагона, он окликнул первого же прошедшего мимо жителя и рассказал о своём положении. Тот мгновенно оповестил всех. Жители станции быстро организовали защиту отца, его здесь все хорошо знали, очень ценили. Работая заведующим школой, он заботился о ней, об учениках, ввёл уроки труда, что тогда считалось новшеством и не всеми почиталось, вместе с детьми посадил большой сад возле школы. После массового заступничества и поручательства, отца отпустили, разрешили возвратиться обратно в Хабаровск. Его, спешащего домой, я и увидел издалика, пожалуй не столько зоркими глазами, а, возможно, больше каким-то особенным детским прозрением. Японцы возвратившегося отца не стали преследовать, но о пасеке пришлось бросить все помыслы, она была безвозвратно потеряна, и в такое время было безумием пытаться её спасти.

После того, как японцы ушли, город заняли белогвардейцы-капелевцы. Помню, когда я, уже окончив среднюю школу, учительствовал в большом селе, мои ученики записали в общую тетрадь для частушек такую: " Партизаны, как фазаны, вокруг сопки бегают. Капелевцы дураки, перестрелку делают..."

Жить в городе без работы, или, как тогда говорили, без службы, стало трудно. К тому времени между враждующими сторонами упростились отношения, и вскоре, добившись разрешения, мы получили товарный вагон и вместе с домашним скарбом и коровой в 1921 году поехали на станцию Вяземская. Здесь отец стал вновь заведовать школой.

Поселились мы в большом двухквартирном стандартном доме железнодорожников. Школа тоже принадлежала железной дороге и располагалась близко к самой станции, хотя в ней учились все дети поселка. Напротив нашего дома, метрах в пятидесяти, находился длинный, крытый от дождя, прилавок, куда к приходу пассажирского поезда сходились торговки снедью. Мы, мальчишки, больше подражая старшим детям, бросали на крышу этого рынка камни, радуясь тому, как они, скатываясь, грохочат. Рассерженные торговки выскакивали из-за прилавков с негодующими криками и руганью.

Прожили мы на этой станции несколько лет, воспоминаний об этом времени много.

Вторую квартиру дома занимал машинист поезда Пржемницкий, а в таком же доме рядом жил наш хороший знакомый начальник станции Мильтон Константинович Куликовский. Я дружил с его единственным сыном Гошей. Жена Куликовского служила учительницей. Мильтон Константинович любил рисовать масляными красками, и в его комнате стояла большая картина с изображением распятого Иисуса Христа. Через много лет в Хабаровске, куда он впоследствии, также как и мы, переселился, он подарил мне палитру из темно-коричневого орехового дерева, и когда она случайно раскололась на две части, я горевал о потере дорогой для меня вещи, напоминавшей о доброжелательно относившемся ко мне человеке. Склеить её оказалось невозможным. Будучи уже стариком, Куликовский исчез в 1938 году в горнилах сталинских лагерей ни за что, как и подавляющее большинство узников того страшного времени.

Станцию Вяземскую окружали прекрасные и типичные для Уссурийского края широколиственные леса из липы, клена, ясеня, березы, ольхи, сирени с примесью хвойных пород. На лугах росли роскошные травы с множеством цветов и чудесными желтыми и красными лилиями. Мы их называли саранками. Сейчас, видя прогрессирующее оскудение природы и вспоминая свою родину, я думаю - осталось ли что-либо подобное от прекрасной природы окрестностей, вплотную подходившей к поселению, от её необыкновенного разнообразия и насыщенности множеством существ, сложившихся во взаимной связи за многие годы.

В начале лета, когда расцветали липы, весь воздух благоухал от аромата цветов этих деревьев и жужжал от великого множества крутившихся возле них пчел. Природа вокруг станции оставила во мне глубокое впечатление, и, возможно, из-за этого я навсегда остался её беспредельно преданным поклонником. Думаю, к этому у меня, возможно, было и какое-то наследственное предрасположение: природу, особенно растения, любил и отец. Ведь у многих мальчиков, живших на станции, в том числе и у моего брата и сестры, не проявилась склонность к биологии.

ЗНАКОМСТВО С ПРИРОДОЙ

Знакомство с природой начиналось буквально возле самого дома. В дальнем углу двора за глубокой канавой царили густые заросли бурьяна. Там бродили одичавшие кошки, иногда выглядывал красный колонок, раздавалось попискивание полевых мышей. Туда боялась наведываться квочка с цыплятами. Всюду гнездились воробьи, ласточки, стрижи, трясогузки, горихвостки. Над поселком часто кружил коршун, пролетали ястребы, а в сумерках в воздухе носились летучие мыши. Однажды что-то темное мелькнуло на листе лопуха: большой толстый червяк полз по растению. Покрытый красными пятнами, обведенными каждое черной каемкой, с каким-то странным рогом сзади и головой в синих пятнышках и желтыми глазами, он казался необыкновенно красивым. Червяка надо взять в плен. Но берет сомнение: вдруг уколет рогом.

Рука дрожит, но лист лопуха с червяком сорван, и я стремглав мчусь с ним домой.

- Выбрось ты эту гадость! - сердится старшая сестра. - Разве можно её заносить в дом. Тогда я прячу своего пленника в сарай, устраиваю его в картонную коробку, кладу разных листьев. Но червяк отказывается от еды. Ему надо что-то другое.

Потом он темнеет, становится короче, и вот уже вместо него - большой коричневый шелковый домик, сквозь его стенки просвечивает черный в блестящих колечках бочонок.

Что случилось с моим незнакомцем? Он, наверное, заколдованный. Был червяком, стал черным бочонком. Неспроста всё это, здесь скрыта какая-то страшная тайна, и поэтому я должен никому о нём не рассказывать. Каждое утро, проснувшись, бегу в сарай и открываю картонную коробку. Шелковый домик всё тот же, и бочонок закрыт. Но однажды вижу в шелковом домике дырку, а вместо бочонка - легкую ломкую скорлупу. В коробке же сидит, нервно вздрагивая крыльями, большая, изумительной красоты, бабочка. Её светло-коричневые крылья испещрены желтыми и фиолетовыми полосками и пятнами, искрятся крошечными бархатистыми чешуйками. На голове красуются чудесные, будто из мелких перышек, усики, а большие черные глаза мерцают красноватыми огоньками. Бабочка схватила меня за пальцы цепкими мохнатыми ножками, не желает отпускать, потом внезапно взмахнула мягкими крыльями, взметнулась в воздух, ринулась в открытые двери сарая и исчезла. И больше никогда я не видел такой прекрасной бабочки и её удивительной рогатой гусеницы. Откуда она появилась? Почему сперва была червяком, а потом бочонком в шелковом домике? Бывает ли так всегда? Кто мне расскажет о всём этом на маленькой железнодорожной станции, затерянной в глухом лесу?

С тех пор мои глаза будто открылись на ранее неведомый мир насекомых. Они были везде, эти маленькие создания. Разноцветные бабочки летали на лугу, и среди них проносились громадные сине-черные бабочки-махаоны, крупные мухи кружились между деревьев, по стволам степенно ползали большие жуки-дровосеки и недовольно скрипели, когда их брали в руки, норовя ухватить за пальцы сильными острыми челюстями. По воде носились неутомные маленькие жуки-вертячки, а в зеленой глубине заводи, где стайками металась рыбки, хищный жук-плавунец ловко скользил среди густых зарослей водорослей.

Как-то отец протянул мне берестяную коробочку. В ней кто-то громко шуршал, скрипел, негодовал и требовал свободы. Я открыл коробочку, и на стол вывалился громадный, как ладонь отца, коричневый жук с большими длинными черными усами. Он немедля поднял кверху жесткие надкрылья, угрожающе загудел, взлетел, закружился по комнате и, ударившись о стекло, упал на пол. Это был самый крупный жук в нашей стране - усач дровосек *Callipogon relictus*.

Вечером слипаются от усталости глаза, хочется спать. Но я терплю, не отхожу от свечи, не свожу глаз с открытого окна. На огонь летят самые разные бабочки: и большие, и маленькие, и яркие, и скромно окрашенные, кружат возле пламени, рассыпая искорками золотистые чешуйки. Иногда на стол неожиданно опускается богомол, будто с недоумением осматривается вокруг зелеными выразительными глазами. Но вот раздаётся громкий шорох крыльев, и в комнату врывается что-то большое и необычное. Летучая мышь? Нет не она, а как ночная

птица невиданной красоты бабочка. Она бросается прямо к свече и тушит её пламя. Несколько мгновений ещё слышатся взмахи сильных крыльев. Когда же снова зажжен огонь, в комнате пусто.

Моя любознательность к природе и населяющим её живым существам временами, как я сейчас понимаю, приобретала черты какого-то неистовства. Тогда я уже, наверное, никогда бы не увлекся чем-нибудь другим и сейчас, думая об этом, рад тому что с раннего детства полюбил природу и проникся к ней чувством беспредельной преданности, сохранившейся до самой старости.

Видимо моё поведение стало необычным и испугало родителей, и как-то, как будто никогда не вникая в мои детские дела, отец стал мягко объяснять мне, что так увлекаться опасно, можно потерять здоровье и даже сойти с ума. Мне запомнилось это его назидание, единственное в жизни, но ничего страшного в своём увлечении я не видел. Наоборот, передо мною открылся прекрасный и фантастический мир, он был мне дорог, интересен, и поэтому от него я ожидал только добро.

Однажды отец, смирившись с моими увлечениями, принес книгу "Жизнь животных" Брэма. Где он её раздобыл на станции – не знаю. Мне тогда исполнилось девять лет. Я прочел её, большую и толстую, всю, от корки до корки. Почему-то запомнилось короткое мгновение: я сижу на высоком деревянном крыльце дома с этой книгой в руках, внимательно рассматриваю изображение тушканчика. Такой милой казалась его добродушная мордочка с большими черными и выразительными глазами. Думаю, эта книга дала мне очень многое, благодаря ей я стал осознавать мир животных не только душою и чувством, но и знаниями о его многообразии и сложности. Потом, лет через пять, уже в Хабаровске, в небольшой библиотеке отца, умещавшейся на этажерке, мне очень понравилась толстая книга "Ум животных". В ней автор собрал и описал множество интересных случаев поведения разных животных, свидетельствующих о сложной психической деятельности наших младших братьев. Эта книга тоже оставила в моём самообразовании глубокий след и, думается, после неё я стал как-то по-своему понимать жизнь животных, не так как представлялось нашей официальной наукой, трактовавшей поведение животных механистически из-за боязни отступить от всемогущего материализма и не впасть в столь страшный и крамольный идеализм и антропоморфизм. Впоследствии, я убедился, что витализм и материализм - просто разные пути познания и поиска истины.

Тогда же у меня, ещё ребенка, сформировалось своеобразное ощущение родственного понимания мира животных, если не сказать, особенное мировоззрение, отсутствие которого всегда удивляло меня у многих дипломированных и заикленных на материализме зоологов. Это же мировоззрение помогало мне любить и понимать всех животных, какими бы они ни были, в то время, как большинство зоологов, зная только одну группу, допустим, только грызунов из зверей или одних воробьиных из птиц, к другим оставались совершенно равнодушными.

У отца была небольшая библиотека, умещалась она на этажерке. Больше книг нигде не было, жили бедно. Зато на этажерке находились очень интересные книги, память о которых сохранилась у меня на всю жизнь. Такие, как крупная

монография Элизе Реклю "Земля и люди" ³, а также "Ум животных" с описанием различных случаев из жизни животных. Эта книга была особенно мне дорога, и когда она исчезла при переезде, я очень жалел о ней и уже взрослым много раз пытался разыскать её, но безуспешно. В те времена известным издателем Сытиным выпускалась серия книг с произведениями Горького, Скитальца, Андреева. Ими я тоже зачитывался. Издавались они ещё до революции, едва ли не под названием "Вестник знания". Книги были дешёвые, в тонкой обложке, рассчитанные на массового читателя.

Жизнь того времени сильно отличалась от современной. Не было ни радио, ни телевидения, ни кино, ни всего того, что ныне так заполняет досуг, отвлекая внимание от природы. Наверное, поэтому тогда к природе тянулись многие мальчишки, жившие на станции, увлекались рыбной ловлей и особенно сбором коллекций яиц птиц. Птиц же обитало в окрестностях города величайшее множество, и утром лес звучал многоголосой симфонией. Коснулось и меня это, как я теперь понимаю, жестокое увлечение. Мальчишки всегда ходили в лес компанией, меня, самого маленького, подсаживали на дерево, заставляя засовывать в дупло тонкую руку, чтобы вытащить из гнезда яйца. Не раз вместо гнезда с яичками из под моей руки выскакивал бурундук, а однажды даже заскользило холодное и гладкое тело большого полоза.

Мы знали всех птиц и всем давали свои названия: цык-цык на нашем языке означало овсянку, красношейка - амурский соловей, вертиголовка - вертишейка, трясипопка - трясогузка, зеленушка - зимородок и так далее. Когда же не оказывалось желающих идти со мною в лес, я отправлялся в недалекие походы один. В одиночестве особенно остро воспринималась красота могучего леса и роскошных лугов. Сколько же разных птиц населяло леса! Как-то я нашел в дупле гнездо скворцов с голубыми яичками. Взял одно, принес домой, но как следует выдуть его содержимое не смог, яичко лопнуло. Разыскал это гнездо снова, но на обратном пути уронил на землю, разбил. Опять пришлось идти в лес к этому же дереву.

Однажды под крышей летней кухни соседнего дома разглядел гнездо горихвостки. Называли мы эту птицу почему-то кофейкой. Яйца её очень ценились, найти её гнездо считалось большой удачей. Забраться в гнездо днем не решился, хотя и летняя кухня, но всё же чужое помещение, да и хозяева могли обругать. Дождался темноты и с замиранием сердца, представляя себя преступником, полез к гнезду. Каких мучений стоила мне эта попытка! Сил и решимости довести её до конца у меня не хватило. До сих пор не могу забыть это испытание совести.

Среди детей в то время распространилась и такая игра: каждый участник её выплетал из соломы или травы гнездо, клал в него несколько слепленных из глины яичек и прятал в укромное место на территории каких-либо условленных зарослей. Участники игры разыскивали эти импровизированные гнезда.

Коллекции яиц помещались в коробках с ватой и перегородками из картона. Кое-кто из мальчишек старшего возраста становился обладателем отличных коллекций. Вскоре я заметил, как сильно беспокоятся птицы, гнездо которых разоряют, какое отчаяние и горе мелькало в их глазах, и сама по себе коробка с яичками, такими разными и чудесными, стала служить укором за столь

жестокое занятие. Тогда я переключился на коллекционирование насекомых. Разнообразие их форм, расцветок казалось безграничным. Но где добыть булавки, торф для дна, в который бы вкалывать смонтированных насекомых, а главное - как сделать морилку? Не знаю, кто изобрел способ морить насекомых никотином, возможно я сам. В трубке курящего скапливалась тягучая и вонючая, почти черная смола. Стыдно просить смолу (отец никогда не курил), но она очень нужна, нечем морить пойманных насекомых.

- Дядя, а дядя, дайте мне из трубки смолу! - робея обращаюсь к занятому делами кочегару паровоза.

- Какую тебе смолу? Я вот тебе задам, убирайся подальше! - сердится кочегар. Не повезло! Трубка у него такая большая, и смолы в ней, наверное, хватило бы надолго.

И снова: - Дядя, а дядя, дайте мне смолу из трубки!

- Смолу? - удивляется бородатый красноармеец. - Возьми, но зачем она тебе, малец? Тонкой проволокой быстро-быстро вытаскиваю смолу из трубки в маленькую железную коробочку. Тут же, какое везение, по лужайке мчится большая черная жужелица. Острой иголкой, смазанной в смоле, едва нанесен укол в грудь жука, и тельце его мгновенно взметнулось, вздрогнуло, поникло. Не прошло и минуты, как жук мертв.

- Ишь ты! - удивляется красноармеец. - Какая силища. И такую дрянь в себя тянем. Тьфу!

Так при помощи коробочки со смолой и иголки я собирал коллекции насекомых. И получалось неплохо. Только с пчелами да с осами происходили неполадки. От их жал пухли руки, да от боли катились слезы из глаз.

СТАНЦИЯ ВЯЗЕМСКАЯ

Ещё увлекались игрою в солдатики. Их вырезали из дерева, раскрашивали. Каждый участник игры ставил свою армию рядками и при помощи самодельной игрушечной пушки со снарядами из палочек или при помощи резинки "обстреливал" солдатиков-противников.

В то беспокойное время старшие братья Николай и Валериан, находясь в Красной армии, попали во Владивостоке в какой-то чешский переворот и оказался в Белой армии. Оба участвовали на стороне "белых" в знаменитом Волочаевском сражении. Тогда Валериан был ранен. Николай понес его на руках в тыл. Его остановил главарь, атаман Семенов, и спросил: "Зачем несешь раненого, ты же не санитар!" Но узнав, что оба - братья, перестал придирается. Сестра Лена стала самодеятельной артисткой, работала на стороне «красных» в поезде так называемых "Красных дьяволят". Там же она познакомилась со своим будущим мужем Б.Фатуевым. И оказались родные братья и сестра по разные стороны баррикады.

В то время артисты присваивали себе вычурные иностранные фамилии-псевдонимы. Присвоила себе фамилию и сестра, назвавшись Розелли-Баллан. Впоследствии, в годы террора, в 1937 году только за эту фамилию она лишилась жизни.

Когда «белые» отступали с Дальнего Востока Николай и Валериан вместе с армией эмигрировали в Маньчжурию, а Елена с мужем по окончании Гражданской войны остались на станции Вяземская. Где они тогда работали-служили, не знаю, помню - бедствовали.

Через станцию Вяземская откатывались войска Белой армии, и в нашей квартире по разнорядке останавливались солдаты на постой, один раз вместе с мальчиком, облаченным в солдатскую форму. Мы с величайшим интересом разговаривали с "сыном полка", сиротой.

Остро запомнился и воскресает во всех деталях в памяти один эпизод. Сажу на заборе и вижу, как по соседней улице идет отец, а за ним с винтовкой наперевес шагает пожилой солдат-белогвардеец. Я удивился тому, что они прошли далее, миновав дом, и что-то тревожное кольнуло в сердце. Как впоследствии оказалось, солдат вёл отца на расстрел. Дело же было такое: два офицера, занявшие на постой школу, стали снимать со стены термометр. Был он особенным, большим, метра два или полтора длиной. Видимо, в предвидении эмиграции стало процветать мародерство. Отец резко возразил офицерам, мотивируя, что это школа, и термометр нужен детям. Те обозлились, вызвали солдата, приказали отвести отца за поселок и расстрелять. В те страшные времена подобное самоуправство и самосуд были обыденными. Солдат отвел отца на край станции и сказал: "Беги, я стрелять не стану". Отец побежал, ожидая выстрела в спину, но его не последовало. Так, попеременно, ему пришлось пережить два смертных приговора: один - от "красных", другой - от "белых". В этом эпизоде сказался характер отца: борьба за правду, хотя бы и в мелочах, нежелание унижаться. Проходя мимо дома, он даже не попытался проститься с семьей. В своих воспоминаниях, писавшихся во время Второй Мировой войны, оба эти эпизода отец не упоминает, сказывалась обстановка сталинизма.

Однажды я очень сильно заболел брюшным тифом. В бреду меня преследовали видения странных и громадных чудовищ, полыхавших яркими цветами пожаров. Иногда ко мне прибегала мать, как всегда сильно занятая многочисленными хозяйственными хлопотами. Хорошо помню, сказал ей: "Мама, я, наверное, умру". Тогда ко мне приходила и много времени проводила возле фельдшерица. Просто так из милосердия, или чем-то я ей нравился. В те далекие времена многие медицинские работники отличались самопожертвованием и искренней любовью к больным. Своим вниманием она меня выходила. К сожалению, лицо её исчезло из памяти, но общий облик существа тихого и доброго остался на всю жизнь.

На станции Вяземской, на сцене школы иногда ставились спектакли, показывали также так называемые "живые картины", когда любители-артисты, в гриме и соответствующих костюмах, застыв в неподвижных позах, изображали собою какой-либо впечатляющий сюжет. Сейчас так не делают, а прежде подобный сценический прием широко использовался в любительских постановках и производил большое впечатление на зрителей. Ставились пьесы и из украинской жизни, в них, несмотря на занятость, иногда участвовала и моя мать. На Дальнем Востоке поселилось очень много украинцев, некоторое время они сохраняли свои национальные черты. Запомнилась сцена из пьесы о войнах украинцев с турками. Пленные запорожцы сидят в подвале и по веревке,

спущенной украинкой, попавшей в плен и ставшей женою султана, лихо взбираются кверху.

Моя матушка часто пела украинские народные песни, особенно за работой или в часы отдыха, когда приходили гости. Детство моё протекало среди этих песен, и они незаметно отпечатались в памяти. Песни были разные, большей частью слова их сохранились лишь обрывками или вовсе исчезли, оставив после себя один мотив. Потом, слушая народные украинские песни, я почти никогда не встречал среди них знакомые с детства, неужели они исчезли из памяти народа? Или иногда, огорчаясь, слышал кое-какие из них в так называемой профессиональной обработке, грубо калечившей прелестную народность и обаяние старины. Некоторые песни были безусловно старинными, судя по тому, что, к примеру, упоминалось крысало ("крысало за сало купыла"). Крысало - стальная пластинка, ударяя которой по кремнию высекали искры, поджигавшие "трут".

Некоторые из песен были очень комичными, такие, как например: "Чернобривый иде, чернобривую веде. Будь здорова дывчина, бо я люблю тебе! Хочь ты любишь мене, я не люблю тебе, я не люблю тебе и не пийду за тебе. Бо у тебе стан як у бабы, у тебе очи як у жабы, руки ноги як у рака, а сам рудый як собака..."

Как и полагалось, на станции существовала церковь, и мы её посещали. На Пасху светили куличи, исповедывались, причащались, молились. Отец священников недолюбливал, испытав неприятности, когда учительствовал в церковно-приходской школе. Тогда священники иногда присваивали и без того крошечное жалование, и отцу приходилось буквально голодать. Но в Бога верил, только немного по-своему, как во что-то высшее, одухотворенное, с неопределенным и расплывчатым обликом, стоящее над всем мирозданием.

В нашем селении жила очень интересная старушка. Звали её Парасковья Ивановна. Седая, со всклокоченными волосами и громким высоким голосом, она походила на полуобезумевшую проповедницу-кликушу. Заходя к нам в гости, она критиковала и проклинала современность, Гражданскую войну, предсказывая дальнейшее страдание страны и всего человечества, говорила о грядущем произволе над народом, эпидемии болезней и скорый конец света, постоянно подкрепляя свои сентенции подробными цитатами из Библии. Она знала её, судя по всему, отличнейше. Через много лет я прочел в Библии одну из наиболее любимых ею цитат: "И брат предаст смерти брата, а отец своих детей, А дети поднимутся против родителей и отдадут их на смерть" (Евангелие от Марка, 13:12). Эту фразу я живо вспомнил, когда с началом перестройки появилась в продаже Библия. Старушку с почтением слушали, с уважением принимали, садили за стол, угощали, но после её ухода слегка над нею посмеивались. Она обладала незаурядными способностями проповедницы и была, как я понимаю теперь, безусловно талантливый человек, каких немало рождала наша страна и одновременно губила в глухой провинции. Какую она имела профессию, какова была её жизнь – не знаю, но хорошо помню её горящие гневом глаза, воодушевленный голос и энергичные жесты.

Христианские религиозные праздники всегда и неизменно справлялись все: Пасха, Рождество, Вербное Воскресение, Крещение, Троица, Масленица...

Все они сопровождалось различнейшими и подобающими ритуалами, вроде скошенной травы, которой обильно покрывали полы комнат на Троицу, угощениями, за приготовлением которых мы, дети, с энтузиазмом следили. Более всего мы любили праздник Рождества Христова, разряженную елку и игрушки на ней, большей частью сделанные из цветной бумаги и картона под руководством старших и родителей. Все эти праздники сопровождалось общением со знакомыми, разнообразили будничную трудовую обстановку, просветляли души.

Гражданская война сопровождалась разрухой. Исчезло электричество, не стало керосина, мать готовила свечи из воска, и я до сих пор хорошо помню, как их делали. Не хватало муки, где-то доставали гречневую муку, из неё пекли чудесные блины гречаньки. Помогало собственное хозяйство. У отца хорошо шли дела с пасекой. На Дальнем Востоке часто выдавались годы обильные по сбору меда, особенно с липы. Зимой в холодной кладовке всегда стояла бочка с затвердевшим медом. Во время нереста кеты все переключались на засолку этой рыбы, и мы, дети, с величайшим удовольствием поедали свежую икру: её только слегка обваривали кипятком и присаливали. Всей семьей садили огород. Кроме того, зимой приходилось возить воду, пилить дрова, топить печи, выносить золу. Всё это, как я теперь понимаю, воспитывало трудолюбие, без него невозможен полноценный гражданин отечества. Сейчас в городе на всём готовом нелегко детей приучать к труду, к тому же, когда оба родителя на работе, вне дома, и дети предоставлены сами себе. Эта проблема при неудержимом росте урбанизации страны - одна из трудных не только в нашем государстве, но и во всём мире.

ГОРОД ХАБАРОВСК

На станции Вяземской мы прожили около трех лет и вновь переселились в город Хабаровск. Чем вызван был переезд - не знаю. Возможно, нам следовало учиться в средней городской школе, а не сельской. Ещё до переезда отец купил в городе деревянный дом из трех комнат и кухни и, как у всех, с приусадебным участком. Значительную часть участка занимал сад. Отец очень любил сад и умело за ним ухаживал. В наше время из него бы получился отличный лесовод, садовод или ботаник. На станции Вяземская он собрал большой гербарий. В его увлечении, по-видимому, сказывалось детство селянина, любовь к природе и удивительное миролюбие. Сейчас большая часть жителей оторвана от земли, отлучена от природы, что при крайней степени урбанизации накладывает неизбежный отпечаток на нравственность.

В саду перед окнами росли две большие, обильно плодоносящие черемухи Маака. Ягоды их с красно-фиолетовым соком, терпкие и не особенно приятные, мы кое-когда пробовали есть. Зато их очень любили скворцы, налетая на деревья стаями. Здесь эти птицы не такие, как в Европе и Средней Азии. Яблони тоже давали обильный урожай крошечных, размером с крупную вишню, плодов, очень кислых, но вполне пригодных для варенья. Хороший урожай давали сливы, а небольшие груши, размером с куриное яйцо, доспевали в сене и казались очень вкусными. Плодоводство в крае в те времена процветало, и на базары крестьяне привозили фрукты целыми возами. В годы коллективизации и индустриализации

страны, когда массы людей стронулись с насиженных мест, а на Дальний Восток нахлынули приезжие, мечтавшие заработать денег и возвратиться с ними обратно, плодоводство мгновенно зачахло и, не знаю, восстановилось ли в той мере, чтобы удовлетворять возросшие нужды населения. Ещё на краю сада росла большая сосна, по её ярусно расположенным ветвям я любил лазить, забирался на самую вершину. Её легко раскачивало ветром, и от ощущения высоты замирало сердце. В дальнем углу двора находился большой сарай с сеновалом. Я и брат Вячеслав спали там всё лето. Вечером в темноте было страшно туда забираться, и чудились в его углах затаившиеся неведомые существа.

На нашей Михайловской улице, застроенной, как почти всё в городе, небольшими домами, жили мелкие служащие, рабочие, торговцы, извозчики. В Хабаровске, хорошо помню, в 1928 году жило всего лишь 46 тысяч человек, по современным масштабам - совсем небольшой городок. Располагался он на берегу величественного Амура и на трех параллельно идущих к реке холмах. Между ними находились овраги Чердынка и Плюсинка. За обилие в городе служащих про Хабаровск тогда шутя говорили: "Две горы, две дыры и тысяча портфелей". Тогда в городе находился один завод, носивший название "Арсенал", и множество разных мастерских, а также частных лавочек и магазинов. На главной улице располагался казавшийся шикарным магазин Кунста и Альберта, принадлежавший какой-то немецкой фирме. Украшали город две большие каменные, искусно расписанные внутри, церкви. Их называли соборами. В тридцатых годах их взорвали. Теперь, одумавшись, мы стали со скорбью порицать ураганом промчавшуюся по нашей стране кампанию уничтожения храмов, как варварство, порожденное бездуховным и весьма недалёковидным политиканством. И не поэтому я так пишу, что только сейчас по настоящему пришла оценка нашего печального прошлого. Нет, даже тогда, мальчишкой, я искренно жалел, когда мой родной город лишался красоты: в общей массе небольших домов и домиков Хабаровска оба храма выглядели величественными его украшениями.

На берегу Амура, в городском саду, на месте, видимом издали во все стороны, у скалистого утеса красовался замечательный памятник генералу Муравьеву-Амурскому. На него я часто заглядывался, представляя его как свидетельство о каком-то необыкновенном человеке. Этот человек увековечил присоединение края к России, подписав с представителем Китая договор (говорят, что мандарину, поставившему свою подпись на договоре, отрубили руку). На высоком гранитном пьедестале бронзовая фигура генерала с подозрительной трубой и свитком бумаги в руках казалась особенно величественной и выразительной. Вокруг памятника, между гранитными столбами, были растянуты крупные цепи. На них мы любили качаться. В тридцатых годах памятник сбросили и тогда, лежавший на земле, он казался необыкновенно грандиозным, возбуждая сострадание, будто по невинно убитому человеку. Памятник вскоре переплавили.

В городском саду часто играл военный духовой оркестр и гуляли горожане. Вокруг оркестра, располагавшегося на крытой сцене, на скамейках, устроенных полукругом, всегда сидело много слушателей и любителей музыки. Никаких билетов не требовалось, вход в парк был свободным. Духовой оркестр,

признаюсь, мне доставлял в то время, когда ещё не существовали радиоприемники, громадное удовольствие и возбуждал особенное чувство возвышенности, да ещё на фоне величественного Амура, моей любимой реки беспечной молодости.

На нашей улице жило немало бедных семей, отчасти из-за безработицы, сопровождавшей НЭП. Мой товарищ заболел из-за недостатка питания куриной слепотой. Его отец работал сапожником. Другой мой товарищ Женя Морозов, всегда чистенько одетый, ласковый, тихий и какой-то не по возрасту молчаливый и печальный, работал в мастерской по производству щеток, принадлежавшей отчиму. От шерсти, привезенной из Монголии, он заразился сибирской язвой и умер. Его смерть меня потрясла.

Среди однокашников и друзей были очень способные ребята. Женя Михнович увлекался литературой, любил Маяковского, тогда мне непонятного, учился легко, помогал мне часто по математике, алгебре и тригонометрии, наукам точным и мною почему-то остро нелюбимым. Другой - Лёня Герман жил в общежитии матросов, пришедших в город на побывку из какой-то военной базы речной флотилии, располагавшейся в нескольких километрах ниже города на реке Амур. Он увлекался охотой. Запомнился один из друзей - кучерявый, черноглазый, бледный, болевший туберкулезом и часто кашлявший. Он обожал Есенина, сам сочинял стихи, казавшиеся мне такими же печальными и прекрасными. Прожил он недолго и умер как-то неожиданно, не успев дотянуть учение до каникул. Где они сейчас, мои друзья, оставившие о себе светлые воспоминания, и как они прожили трудное время, выпавшее на нашу долю?

Наша Михайловская улица располагалась недалеко от вокзала, и когда требовалось узнать время, взбираясь на ворота и всматриваясь, можно было различить положение стрелок больших станционных часов.

На углу улиц Михайловской и Вокзальной располагалась аптека, а на втором этаже этого здания - наша школа пятилетка. Девятилетку я заканчивал уже в другом месте города, близком в центре. Недалеко от школы на Вокзальной улице находился дом баптистов. Там, верующие, собираясь, распевали песни, хорошо слышимые на улице. Помню, одна из них начиналась словами: "Был у Христа-младенца сад", другая - "Христос родился не для веры, Христос родился для любви".

В те времена на Дальнем Востоке жило много китайцев и корейцев и очень мало японцев. Корейцы занимались почти исключительно сельским хозяйством и жили в хуторах в сельской местности. Они строго соблюдали национальные обычаи и наряжались в своеобразные одежды. Китайцы приспособились к жизни в городе, занимаясь обслуживанием населения, а также сельским хозяйством-огородничеством. Некоторые из них жили в лесах, промышляя поисками целебного корня жень-шеня, ловлей пушного зверя, торгуя с местным населением - гольдами, нанайцами, удехейцами. Очень развитая и недорогая "служба быта", по современной терминологии, находилась целиком в руках китайцев. Рано утром по улицам продавцы несли в корзинах различный товар: рыбу, овощи, ткани и даже парфюмерию. О своём появлении торговцы оповещали громкими голосами. Ходили по домам и мастера, чинившие лопнувшую фарфоровую посуду, металлические изделия, швейные машинки.

Иногда появлялись фокусники с маленькими обезьянками-мартышками, сопровождаемые толпами мальчишек. Остановившись посередине улицы, они показывали свои представления. За труд они получали гроши, бедные жители не отличались щедростью.

Обычно каждый китаец обслуживал один, негласно закрепленный за ним, район, и порядок в этом распределении существовал твердый. Рыбу на нашу улицу всегда носил китаец, которого все звали Володя. К нему привыкли, его все знали, часто брали у него в долг, и никто никого никогда не обманывал. Встречали всегда Володю как старого и хорошего знакомого. Однажды Володя нас удивил. У соседки сильно разболелся зуб. Страдала она от боли несколько дней. "Почему ты мне сразу об этом не сказала?" - спросил её Володя. "Я несколько лет учился лечить зубы в Чифу (так китайцы называли свою родину, откуда приходили на заработки и нередко оставались жить много лет)".

Володя попросил швейную иглу, нитки, спички. Намотал на тупой конец иглы нитки шишечкой, обжег острие на пламени спички, долго ощупывал лицо пальцами, потом вколол иглу наполовину в скулу. Больная сидела молча с застывшим лицом, и мы все молчали, пораженные необычным зрелищем. Через некоторое время Володя вынул иглу, зубная боль у соседки моментально исчезла.

В городе в китайской слободке находились национальные столовые, магазинчики и даже свой театр. Играли в нём только мужчины, распевая высоким фальцетом и исполняя даже женские роли. В столовых ели только палочками, еда отличалась разнообразием блюд, казавшихся очень вкусными и оригинальными. Китайцы не ели черного хлеба и даже, как будто, от него заболели. Хлеб в нашем понимании этого слова, заменяли пампушки - небольшие круглые булочки из белой муки, приготовленные на пару.

Мужчин в китайской слободке было во много раз больше, чем женщин. Те поражали своими крошечными ступнями ног, из-за которых и походка их казалась необычной. "Мадама" - так называли китайцы своих женщин. С детства ступни ног девочек пеленали по особенному, препятствуя их росту. Теперь этот тяжкий и варварский обычай оставлен. Многие китайцы носили в то время длинные косы, также как и женщины. Европейцы, впервые приезжавшие в наш край, не умели отличать по лицам китайцев, корейцев и японцев. Мы же в этом не испытывали никаких затруднений. Но корейцев от японцев считали отличать невозможным.

Ночами на лошадях, запряженных в повозки, по городу разъезжали, как мы их называли, "золотовозы". Они чистили уборные и увозили содержимое бочек в ямы возле огородов, возделывавшихся китайцами - большими мастерами сельского хозяйства, в то время слабо развитого в крае. Кроме того Китай поставлял продукты: растительное, преимущественно соевое, масло, соевые жмыхи для кормления скота, свиное топленое сало в жестяных банках. Среди русского населения ходили слухи, что это сало вытапливается из змей, что было, конечно, нелепостью.

Мои братья, Николай и Валериан, оказавшись в Харбине без средств существования, бедствовали. В то время Советской властью был издан декрет, согласно которому добровольно возвратившимся на родину солдатам-белогвардейцам гарантировалась свобода. Николай с группой

единомышленников, бывших солдат Белой армии, перешел границу и сдался властям, но отсидел несколько месяцев в тюрьме, там заболел и, выпущенный на волю, пролежал около года в психиатрической больнице. Валериан, способный и хорошо освоивший английский язык, служил в ресторане официантом. Но не выдержал унижительной работы и покончил жизнь самоубийством. Потом почти всех русских харбинцев, после войны переехавших в СССР, на свою исконную родину, постигла повальная участь узников сталинских лагерей.

ОТРЯД ПИОНЕРОВ

На железной дороге существовал пионерский отряд, и я туда поступил, пройдя ритуал посвящения в пионеры. Занятия в нём нравились, очень полюбилась и газета "Пионерская правда", каждый номер её ожидался с нетерпением. Пионерский отряд часто ходил строем по городу с красным знаменем, распевая незамысловатые и примитивные, как теперь я понимаю, революционные песни. Пели мы их с великим энтузиазмом, громкими голосами в такт маршировке, размахивая руками и чеканя шаг, гордо шествуя по городу мимо недоброжелательно на нас поглядывавших обывателей, сидевших на скамеечках возле своих домов.

Репертуар песен был примерно таков:

Эй, буржуй вставай с постели, открывай нам шире двери.

Во, во - и больше ничего!

Мы пойдём к буржую в гости. Поломаем ему все кости.

Во, во - и больше ничего.

Близится эра светлых годов, клич пионеров: всегда будь готов!

Жить как бывало нельзя нам. Это и дети поймут.

Слава рабочим и крестьянам, славься свободный труд.

Папа воюет на фронте, с тем кто Советам не рад.

Эй, белоручки, не троньте, наш завоеванный сад.

Вспоминаются песни полубесмысленные по содержанию, но как всегда исполнявшиеся с залихватством:

А Ленин из трибуны, трибуны, трибуны.

На мировой пожар коммуны, коммуны мировой.

Даёшь, даёшь по шпалам, по шпалам, по шпалам.

Крути давай, навёртывай, к коммуне подъезжай!

Запомнились и слова, как впоследствии я понял, частично заимствованные из А.Блока, его "Двенадцати". "Мы на горе всем буржуйам мировой пожар раздуем. Мировой пожар в крови. Господи, благослови." Эти слова выкрикивались громко, скандируя в такт маршировке. А далее, войдя в раж, уже орали во весь голос: "Апчхи-начхать, апчхи-начхать, апчхи, апчхи, апчхи-начхать!" Тогда уже начиналась чудовищная фальсификация жизни, и мы, дети,

всему верили, укладывая в своём сознании "священные и справедливые порядки новой светлой жизни".

Мотивы всех этих песен помню до сих пор хорошо, и, быть может, поэтому их несложная мелодия запала в память вместе с обрывками фраз. Тогда я не осознавал дремучую примитивность этих выкриков, теперь же, думаю, какое тяжелое впечатление они производили в то время на людей культурных, образованных. Хороших песен мы не знали, да и, по всей вероятности, для детей того времени их не существовало. Наши родители при нас, детях, никогда не высказывали своих чувств по отношению к новшествам жизни, разрушавших старинные устои культуры и быта. Видимо, уже тогда это было небезопасно.

Отряд пионеров предполагалось на лето отправить за город в лагерь, о чём я мечтал необыкновенно. Тяга к природе, любознательность к ней продолжали владеть моими чувствами, а город, наоборот, тяготил. Но когда пришла пора отправлять детей в лагерь, мне отказали на том основании, что мои родители не работают на железной дороге. Отец очень обиделся, я - горевал.

Летом много свободного времени, его некуда девать. Тянуло за город, но желающие идти на прогулки со мною редко когда находились, поэтому я часто уходил один. Бывало пойдешь бродить за город и, истратив силы на долгий обратный путь, едва тянешь ноги. Окрестности города заросли дикими яблоньками, бояркой, березой, осиной, орешником-лещиной. Кое-где лески перемежались болотцами и тихими лесными речушками. Всюду распевали мелкие птицы, иногда выскакивал из зарослей заяц. Жаль, что в то время у меня не нашлось умелого учителя биолога, который бы сумел направить мою страсть к природе по какому-либо одному интересному руслу, приучил к познанию глубины предмета, научил советоваться с книгами. Через много лет, став зоологом, сколько мне приходилось тратить сил на то, чтобы заставить своих учеников заняться каким-либо одним делом. Мне же самому приходилось находить дорогу к творчеству, часто совершая множество ошибок и затрачивая массу сил зря.

Из книг о природе попадались те, в которых описывались больше охотничьи похождения. Быть может поэтому у меня тоже стала проявляться страсть к охоте. В те времена после Гражданской войны не составляло труда доставать оружие. Находили трехлинейки, обрезали стволы, делали ложу, заряжали патроны, стреляли. Но дробь сильно рассыпалась во все стороны, а пулей стрелять - не в кого, дробовое же ружье стоило дорого. У нас, мальчишек, постоянно водились разные револьверы, большей частью небольшие никелированные Смит-Вессоны, короткоствольные бульдоги или маленькие, так называемые дамские, револьверчики. Всё это менялось, переходило из рук в руки. Не обходилось и без казусов. Однажды брат Вячеслав где-то раздобыл громадный тяжелый пятизарядный револьвер Смит, его называли "телячьей ногой". Большого калибра, он стрелял пулей размером едва ли не с концевую фалангу пальца взрослого человека. Тогда мы уже умели сами лить пули из свинца, выковыривать старые капсулы, ставить новые, засыпать порох. Наладили к "телячьей ноге" несколько патронов, открыли дверь сарая. Против него, в десятке метров, находилась уборная, на её двери нарисована углем мишень. Брат браво прицелился, положив ствол револьвера на локоть согнутой левой руки,

нажал курок. Последовал оглушительный выстрел и... о ужас! Из уборной с криком выскочила соседка и, на бегу подтягивая белье, бросилась к дому. Перетрусили мы с братом страшно и, возвратившись поздно, в темноте, не заходя домой, забрались спать на сеновал. Как я потом узнал, этот револьвер пользовался большой популярностью у золотоискателей, осваивавших Аляску. Убойность его страшная, а само по себе оружие в тайге при встрече с крупными хищниками было незаменимо.

Предпоследний никелированный револьвер Смит-Вессон я променял на дефицитные в то время коньки, о чём потом сильно жалел. Поздно вечером, возвращаясь домой через территорию пустующей барахолки, я услышал крик о помощи, бросился на него и, увидав двух мужчин, нападающих на женщину, открыл стрельбу в воздух и испугал бандитов. Женщина была очень благодарна и удивлена, увидев своего столь юного спасителя. С последним револьвером той же системы я распростился лет двадцати от роду. С тех давних пор у меня на всю жизнь сохранилась любовь к оружию, и за время Великой Отечественной войны я с любовью ухаживал за своим пистолетом и жалею до сих пор, что личное или, как говорят, кабурное оружие, в наше время недоступно простым смертным. Прежде чем приобрести охотничье ружье мастерил множество самоделок, заряжавшихся с дула, с запалом из пистона, воспламенявшегося от удара обычной бельевой прищепки с вбитым в неё гвоздиком. Порох готовил сам из размельченного угля, серы и бертолетовой соли. Её, а также серу, покупал в аптеке. Самодельный порох обладал большей взрывной силой нежели обычный черный порох из серы, угля и селитры, из-за чего самоделки очень часто разрывало на части, ствол пролетал мимо головы и уносился далеко назад. Ещё доставали порох из винтовочных патронов. Свинец добывали на бывших японских стрельбищах.

Однажды где-то раздобыли динамит, на вкус он оказался сладковатым, но от его маленького съеденного кусочка сильно болела голова. Крохотный ломтик динамита, положенный на камень, от удара по нему молотком, давал оглушительный взрыв, а молоток едва не вырывало из рук.

Потом мы с товарищем раздобыли пару петард. Так назывались небольшие круглые плоские жестяные баночки, подкладывавшиеся на рельсу железнодорожного пути для того, чтобы при наезде на них получался взрыв, служивший сигналом для машиниста о необходимости остановки поезда. Решив их разобрать, каждый отправился к себе домой. Мне удалось расчленив петарду на две слагающие её крышечки. В ней оказались шпильки и взрывное вещество. Мой товарищ разобрал петарду неудачно, она взорвалась и оторвала ему три пальца.

Наверное, из-за безработицы или ради дополнительного заработка отец одно время служил на восстановлении моста через Амур, взорванного во время Гражданской войны, и вечерами допоздна сидел со счётами и какими-то длинными таблицами.

МЕЧТЫ СТАТЬ ПУТЕШЕСТВЕННИКОМ

Примерно к двенадцати годам у меня сложилось твердое намерение стать путешественником, исследователем края. Известного исследователя Дальнего Востока Владимира Клавдиевича Арсеньева я боготворил, а его книги о путешествиях по Уссурийскому краю читал с величайшим вниманием и наслаждением. В моём представлении путешественник был обязан владеть искусством охотника и следопыта, чтобы уметь прокормиться в тайге, защититься от возможных врагов, как четвероногих, так и двуногих. Но где достать на оружие денег? В семье и без того их не хватало, жили бедно. На ночь я часто уходил с мальчишками к железнодорожному мосту через Амур рыбачить на закидушки. Экипировка наших походов была простой: кусок хлеба, закидушка, банка с червями и толстый тарный мешок, чтобы подстелить его под себя ночью возле костра, а в случае дождя, сложив продольно, надеть на голову. Улов получался небольшим, в среднем - пара лещей, несколько касаток и плетей. Так мы называли небольших, длиной 30-35 см, рыб без чешуи, похожих сложением тела на акулу. Обе эти рыбы при поимке отставляли от тела под прямым углом крепкие передние плавники, зазубренные как пила и острые, они легко ранили руки. И всё же весь улов мог послужить завтраком или даже обедом для семьи.

Однажды я пошел на рыбалку с товарищем Колей Яновским. Старше и опытнее меня, он взял с собою перемёт. Так назывался длинный шнур с множеством на него привязанных крючков. Мы перегородили им небольшой заливчик на песчаной отмели и, переночевав, рано утром сняли столько рыбы, что я шел домой, изнеможенный непосильной ношей.

В то время я уже умел немного рисовать. Вместе с отцом мы распиливали наискось чурбачки из бархатного дерева, отличавшегося толстой и красивой корой, получая овальные пластинки в обрамлении коры. Эти пластинки я грунтовал и масляными красками рисовал на них простенькие пейзажи. Отец относил их в магазин Кунста и Альберта, и там за каждую платили полтинник, продавая немного дороже. Так постепенно я скопил 16 рублей и купил в охотничьем магазине самое дешёвое дробовое ружьё-одностволку 20 калибра с берданочным затвором. Приобретению я несказанно обрадовался и, вскоре, пойдя за город, подкараулил колонка. Зверёк тихо взбирался на яблоньку. На ней, не подозревая опасности, ворковала горлица. С колонка я снял шкурку. Отец объяснил, что из хвоста этого зверька готовят самые дорогие кисточки для живописи. Потом научился делать чучела птиц. Начинал с тетеревов, продававшихся на базаре зимой и добытых охотниками-промысловиками. Как-то сделал чучело самца и самки седоголовых дятлов, посадил их на обрубок дерева и подарил учителю естествознания Эмме, которого уважал.

Однажды мы, трое мальчишек, решили попутешествовать по Амуру и даже спуститься по реке до её устья у города Николаевска, откуда на океанском пароходе добраться до казавшейся нам легендарной Америки. Затея была легкомысленной, но разве мы думали об этом. Накопили сухарей, достали пару вёсел. На рассвете на причале Амура, где находилась целая флотилия частных лодок, отвязали одну из них и поплыли на ней, проделав эту бессовестную воровскую операцию так тихо, что сторож не проснулся. Проехали под гигантским мостом через Амур. Путешествовали несколько дней, на ночь

приставали к берегу, ловили рыбу, ею питались, грелись у костра. Чудесные протоки, заросшие деревьями, простор, полнейшее безлюдие казались сказочными. Но вскоре кончились сухари, нас основательно промочило дождями, и всем сразу, кроме меня, инициатора путешествия, захотелось домой. Устроили парус из мешковины, тронулись в обратный путь, кое-как дотянули до моста через Амур. Дальше тащить лодку против течения уже не было сил, к тому же до города оставалось шесть километров. Вытащили лодку на берег и под проливным дождем, совершенно мокрые, притащились домой. Родители меня не упрекали за самовольную отлучку из дома, отец был сторонником самостоятельного развития детей и свободы их действий. Кому-то досталась наша ворованная лодка, обычная трехдосковая плоскодонка, она стоила недорого.

В Хабаровске существовал замечательный краеведческий музей в хорошем, специально отстроенном, кирпичном здании. Он примыкал к городскому саду-парку, хотя и отгородился от него высоким забором. Я очень любил этот музей. В его дворе под большим навесом находился скелет кита. Он поражал моё воображение своими гигантскими размерами. А в самом здании в витринах красовались чучела всевозможных птиц и зверей, населявших Дальний Восток. В этнографическом отделе находились экспонаты, отражавшие быт и культуру малых коренных народов края. Этот музей помог мне ещё больше полюбить и узнать природу.

Экспонаты музея отличались естественностью и выразительностью. Многие из них находились в естественном окружении на фоне исполненной живописью панорамы природы. Изумительно выглядел тигр, терзавший кабана, дерущиеся олени. Чучела музея создавал удивительный мастер своего дела Георгий Евграфович Сольский, человек странного облика. Он был безусловно очень талантливый мастер, знал великое множество профессиональных секретов. Советскую власть он не признавал, дочь свою, а также дочь приемную - китаянку, воспитывал в духе старины. Обе они меня сильно смущали, приветствуя моё появление своеобразным реверансом.

В тридцатых годах краеведческий музей деградировал, большинство экспонатов убрали на склады, где они постепенно обвештали и погибли, заменив их различными реликвиями и документами под стеклом, относящимися к Гражданской войне и становлению в крае Советской власти. Сам Сольский, удрученный гибелью своих трудов, неожиданно куда-то скрылся вместе с семьей. Говорили, что он якобы пытался бежать в Китай на лодке через озеро Ханка, часть его принадлежала Китаю. Возможно, за столь дерзкий поступок он поплатился жизнью. Как жаль, что он не оставил после себя руководства о своей профессии таксодермиста и муляжиста.

Однажды я и Женя Михнович пошли на Верблюжью гору. Такое название она носила за то, что издалека по очертанию вершины походила на два верблюжьих горба. Гора хорошо видна из города, располагаясь почти в начале хребта Хехцир. В то время, не знаю как сейчас, она находилась среди девственной тайги. К вечеру мы забрались на самую вершину горы и там будто оказались на маленьком островке среди безбрежного моря сплошного леса. Наступила очень темная и страшная ночь. Возле нас шуршала трава от множества бегавших мышей. Отовсюду доносились звуки, какие-то вздохи, рычания, пiski.

Вся обстановка казалась слишком необычной, и мы оба чувствовали себя слегка подавленными и встревоженными, беспрестанно заряжали свои самопалы-самоделки и стреляли в воздух. Каждый выстрел сопровождался небывало сильным грохотом и многократно повторялся эхом. Всё время чудилось, что вот-вот что-то необыкновенное и страшное должно произойти. Утром спустились с горы, побродили по тайге и к вечеру пошли домой. Пасмурное небо сильно потемнело, лес насупился, будто замер. Потом налетел сильный ураган, громадные ели и кедры раскачивались вершинами, лес стонал и шумел, иногда раздавался грохот падающих деревьев. Полил сильный дождь, он вскоре перешел в страшный ливень. Вода лилась действительно как из ведра. Испуганные, в темноте, мы мчались к дому изо всех сил, постоянно поскользываясь и падая, и путь наш казался бесконечным. Кое-как поздней ночью добрались до дома. Меня встретили обеспокоенные родители.

После приобретения ружья я стал уходить в лес один, ночевал у костра, подавляя в себе страх и стараясь поскорее заснуть, чтобы от него избавиться. Однажды прожег на спине свой полушубок. В ту ночь вблизи моего ночлега раздавалось громкое и отчетливое бляение барашка, и я, пораженный этим, терялся в догадках. Откуда он мог очутиться среди леса в безлюдном месте среди болот и лесных зарослей? Утром я дознался в чём дело. Оказывается, так токовал азиатский бекас, совершая ловкие пируэты в воздухе: пикируя вниз, он вибрировал перьями хвоста и ими блял будто барашек.

ОКОНЧАНИЕ ШКОЛЫ

Весной 1928 года мы праздновали окончание средней школы-девятилетки. Всем было весело, преподаватели вместе с нами запросто шутили, пели песни. Вспоминая тот выпускной вечер, думаю о том, что были мы тогда другими, чем теперь молодые люди того же возраста (мне исполнилось 16 лет, большинству 17-18). Никто тогда из нас не помышлял о куреве и тем более о вине. О наркотиках вообще ничего не знали. Всё это нам было неведомо. Не знали и хулиганства, за исключением в общем невинных проделок. С такими учениками, наверное, преподавателям легко работалось. Пожилые люди всегда утверждают, что молодёжь стала гораздо хуже, чем прежде в их молодые годы. Зная эту слабость, я, стараясь быть объективным, всё равно вынужден признать, что разница между нами очень значительная. К тому же мы были более серьезными, беспокоились о предстоящей самостоятельной жизни и профессии. Обилие современной информации, сильная загруженность уроками учеников нашего времени, а также неизбежные пороки стремительно развивающейся цивилизации способствовали изменению психологического облика современной молодежи. От выпускного вечера осталась в памяти шуточная песенка, научил нас ей преподаватель математики, армянин.

Кулим-джан, Кулим-джан, мы имеем лавка,
Мы торгуем баклажан, разным сортам травка.
Карапет имел буфет, и в буфете был конфет,

На конфете был портрет: этот самый карапет.
Карапет, карапет, какой ты красивый,
Половина носа красный, половина - синий.

Горланили мы эту песню с величайшим удовольствием. После окончания школы наш преподаватель географии Топорков решил провести десятидневную экскурсию в тайгу, повторить один из маршрутов известного краеведа и географа В.К. Арсеньева по хребту Хехцыр, совершенный им с учителями. Этот хребет отчетливо виден из города, темно-синий и таинственный. Нас собралось тринадцать человек. Поход предстоял в обстановке девственной тайги. Почти всем нам выдали иностранные винтовки с патронами к ним. В те далекие времена подобная акция не представляла никаких затруднений, сейчас же, представляю, сколько пришлось бы перенести хлопот и формальностей. Да и разрешили бы юнцов вооружить винтовками? У меня тогда была своя малокалиберная винтовка популярной системы Монтекристо, очень простенькая и старенькая. В середине путешествия к моему великому огорчению я потерял от неё затвор, очевидно зацепив им за заросли.

Из Хабаровска до станции Корфовская, до которой было около пятидесяти километров по железной дороге, идущей до Владивостока, всю дорогу весело распевали песни. Где-то здесь возле станции находилась могила убитого бандитами помощника и проводника Арсеньева, замечательного следопыта, охотника и знатока тайги - удэхейца Дерсу Узала. От станции Корфовская направились по хребту Хехцыр, намереваясь закончить путь на реке Уссури и на пароходе возвратиться обратно. Нас встретила невероятно девственная, дремучая и захламленная упавшими деревьями тайга. Меня она поразила своим суровым величием и глубокой тишиной. Мне всюду мерещились кабарги, косули, олени-изюбри, медведи, могучий тигр, барсуки, лисицы, волки. В моём представлении они обязательно здесь обитали, и только шум нашей компании заставлял их сторониться от нашего пути. Я всматривался в густые заросли, ожидая кого-либо из них увидеть. Но наш отряд не встретил ни одного зверя, хотя следов разных встречалось предостаточно, все животные от нас заблаговременно скрывались, к тому же мы, ради интереса, кое-когда палили из винтовок.

Деревья росли так густо, что заслоняли солнце. На земле, несмотря на глубокую тень, всё же росли высокие папоротники вперемешку с другими растениями, и среди них - коварная колючая аралия с длинными и острыми шипами. Карабкаясь на подъемы, приходилось внимательно всматриваться в растения, прежде чем ухватиться за них в поисках опоры. Путешествие оказалось нелегким, но мы его выдержали с честью и, довольные его удачным завершением, расположились на берегу реки Уссури в ожидании парохода.

В походе нам, как обычно в тайге, доставалось от различных кровососущих насекомых, в том числе и от клещей. Возможно поэтому через десять дней после путешествия я переболел, после чего у меня долгое время как-то странно шлепала на ходу ступня левой ноги. Но один из участников, тяжело переносивший нападение кровососущей братии, заболел особенно тяжело и на всю жизнь остался инвалидом, у него парализовало шейные мышцы и частично

руки. Прежде был неизвестен так называемый клещевой энцефалит. Им, наверное, переболел и я в более легкой форме.

ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Вскоре после похода по Хехцыру меня позвал учитель биологии Эмме. Всегда спокойный, очень приветливый, мягкий в обращении с людьми, светловосый с ясными голубыми глазами, он вызывал к себе симпатию. Оказывается, в Хабаровск приехала экспедиция профессора К.И. Скрыбина, впоследствии ставшего известным академиком - специалистом по изучению паразитических червей человека и животных. Экспедиции понадобились несколько помощников на должность лаборантов. Эмме порекомендовал меня и двух девушек, моих одноклассниц выпуска нашей школы. Экспедиция направилась в город Николаевск. Все разместились на большом речном пароходе, отплытие его из родного города и моё первое большое путешествие совпало с днем рождения: мне исполнилось шестнадцать лет. Всей свите профессора закупили билеты на привилегированную верхнюю палубу. Мы, трое временных лаборантов, как низшая рабочая сила, поселились внизу в общей компании на нарах. Через некоторое время члены экспедиции, или её руководство, сообразили, что подобное разделение выглядит недемократично, и нас пригласили на верхнюю палубу. Девушки пошли, я же, немного обиженный, заявил, что мне и здесь хорошо. В действительности, я не испытывал никакого неудобства, пьяных не видал, хулиганства или сквернословия - тоже. Наоборот, все пассажиры, простой народ, были приветливыми, всё время играла гармонь.

Амур меня буквально потряс своим величием и дикими просторами, высокими скалистыми берегами справа, низкими плёсами, островами и песчаными косами - слева. Плавание продолжалось около четырех дней. Когда же Амур стал очень широким, появились белухи. Большие, белые, они как бы нехотя всплывали на поверхность, медленно поворачивались с боку на бок и скрывались под воду. Это были первые крупные животные, увиденные в моей жизни. У города Николаевска Амур совсем стал широким, разлился на многие километры: сказывалась близость моря.

В Николаевске нас засадили за тяжелую работу: вскрытие животных по тщательной и твердо разработанной методике, просмотр всего тела, вылавливание паразитов. Меня поразило обилие паразитических червей, обитающих буквально во всех органах, были ли это рыбы, кошки, собаки, коровы или лошади. Работали много, с утра до позднего вечера, и мне с непривычки от сидячей работы приходилось нелегко. Страдали и мои однокашники. Но терпели, старались изо всех сил, трудились, чувство ответственности подавляло желание отвлечься и отдохнуть.

В большой комнате-лаборатории вместе со всеми за отдельным столом сидел ближайший помощник профессора Шульц, пунктуальный, требовательный к себе и подчиненным. Вместе с ним работала и его жена Элеонора, совсем молодая, красивая, восточного облика женщина. Компанию ей составляло несколько молодых женщин – ветеринарных врачей, как мне показалось,

симпатичных, послушных и работающих помощников. Помню, меня очень удивило, что они друг друга звали странными именами, и я не сразу догадался, что эти имена - слитые вместе первые слога имени, отчества и фамилии. Одна из них, к примеру, называлась Лигадру (Лидия Гавриловна Дружинина), другие - в этом же роде. Ещё в экспедиции участвовали шустрый молодой человек ветеринарный врач Коденаций и его сестра. Сын профессора, примерно моего возраста - типичный барчук, пользовался привилегиями, бездельничал, никакой работой не занимался. Профессор работал отдельно в кабинете, и мы его видели редко. Обедали всегда вместе за длинным общим столом. На одном его конце восседал профессор вместе со своей женой и сыном.

За время работы в Николаевске, а она продолжалась около месяца, был только один день отдыха. Наша лаборатория находилась на краю города, сразу же за ней начиналась мало затронутая деятельностью человека природа. Тогда все отправились на экскурсию в окрестности города. Незаметно для себя, увлекшись, я отстал от компании, задержался возле небольшой речки и поразился: по ней сплошной массой, примыкая едва ли не вплотную друг к другу, вверх по течению двигалась крупная рыба - горбуша. Всё это скопище живых тел продвигалось с упорством, перепрыгивая небольшие камни на своем пути. И никто её здесь не ловил и, судя по всему, не обращал на неё никакого внимания. В те времена горбуша считалась рыбой второстепенной. Ловили кету, родственную горбуше, но более крупную и вкусную. А сейчас и горбуша стала редкой и вряд ли идет на нерест такими массами, как мне пришлось увидеть. Вспоминая этот эпизод семидесятилетней давности, думаю, что, наверное, осталось очень мало свидетелей такого былого изобилия животного мира, как тогда. А семьдесят лет, такой короткий срок для Земли, был достаточен, чтобы так быстро человек неузнаваемо преобразил природу.

Увидев на кустах бурундука, я выдернул из брюк нитку, сделал из неё петлю, привязал её на прутик и легко поймал зверька. Этот способ ловли, мы, мальчишки, часто использовали. Обычно, глядя на человека, бурундук не обращал внимания на прутик и позволял свободно надеть на свою шею предательскую петлю. Точно так же ловят в тайге доверчивого и непугливого рябчика-дикушу. За эту особенность поведения охотники-промысловики считают её священной и якобы предназначенной для тех, кто оказался в лесу без припасов и оружия. В бурундука буквально вцепилась жена Шульца, очень его полюбила и забавлялась им как маленькая. По возвращению в Хабаровск бурундук спрыгнул со второго этажа гостиницы и удрал. Элеонора страшно горевала, так ей понравился этот красивый зверек.

Из животных, подвергнутых обследованию, запомнился сивуч - обитатель моря из семейства ушастых тюленей. Пару дней он прожил в бочке с водой, выглядывая из неё на окружающий его необычный мир большими и, как мне казалось, очень печальными глазами. В его убийстве и исследовании я категорически отказался участвовать, чем навлек на себя недовольство всегда важного профессора и педантичного его помощника. В то время гельминтология, наука о паразитических червях, только начала развиваться, и масса видов открывалась впервые, как новые и неизвестные.

Близко от лаборатории в кустах я нашел мертвого зайца. Профессор заставил меня его вскрыть, но не в том помещении, где работали, а на улице, предварительно отогнав от меня скучавшего от безделья сына. Задание, которое я получил, как я теперь понимаю, было далеко небезопасным и по существу даже безобразным. Видимо, я для профессора представлял пешку, которой можно жертвовать ради возможной находки какого-либо нового гельминта. Заяц мог погибнуть от чумы, туляремии, сибирской язвы и мало ещё от какой болезни, опасной и для человека, и профессор, ветеринар по образованию, должен был это знать. Не помню, нашел ли я в органах зайца каких-либо особенных гельминтов, но обследование его провел со всей возможной тщательностью и по принятой методике. К счастью, это обследование кончилось благополучно.

Прошло несколько десятков лет после этой экспедиции. Я, уже обладая профессорским дипломом, собираясь поступить в Киргизскую Академию наук, над которой тогда шефствовал академик Скрябин, был вынужден посетить его в Москве, чтобы заручиться его согласием. Скрябин, узнав что я намерен перейти из Института зоологии Казахской Академии наук, который тогда возглавлялся учеником академика Е.Н. Павловского, с которым был не в ладах, ответил уклончивым отказом. О том, что из-за противоборства страдало дело, академика мало беспокоило.

В его лаборатории я встретился с теми же самыми скромными труженицами-женщинами, что участвовали в экспедиции в город Николаевск, они трудились все вместе в одной тесной комнатке, за свою многолетнюю службу не повысившись в ученых степенях и званиях. Сын Скрябина пошел по пути отца, стал ученым, достиг звания академика, занял какой-то важный в науке административный пост. Мне как-то пришлось увидеть его по телевидению. В старом и обрюзгшем человеке я узнал типичного администратора-функционера, каких встречал немало в научных учреждениях.

Я – УЧИТЕЛЬ

По возвращении в Хабаровск, мне предложили, также как и моим сокурсникам, продлить работу в экспедиции ещё на месяц и поехать куда-то в Сибирь. Но я отказался. Наступал учебный год, и отец решил меня устроить на постоянную работу учителем сельской школы. Мои товарищи по школе уже устроились на работу в разные места. Женя Михнович стал топографом, Лёня Герман уехал на какие-то прииски. Отец, предварительно списавшись, направил меня в город Спасск. Там, в районном отделе образования, "районо" как его называли, дали мне направление в село Михайловку, стоявшее на самой границе с Китаем на реке Сунгача, впадавшей в озеро Ханка. В селе жили немцы, далекие потомки выселков, осевших в немецком Поволжье. Предполагалось, что я поведу занятия сразу с несколькими классами. В Спасске на базаре нашел подводу и на ней поехал с возчиком, жителем этого села, по бескрайней болотистой равнине Приханкайской низменности. Вокруг простирались нетронутые частично заболоченные луга, девственная природа. Непуганные утки и кулики взлетали едва ли не из под ног лошади, медленно размахивая крыльями, будто нехотя,

поднимались из густых зарослей трав серые цапли, кое-где хорошо заметные на сочной зелени сидели белоснежные цапли, совсем близко от дороги разгуливали дикие гуси. Видимо, никто их не стрелял и не беспокоил. Да и вокруг нигде не было видно никаких поселений. В конце нашего пути подъехали к тихой небольшой реке Сунгача среди низких болотистых берегов. За нею уже находился Китай. Там, близко к берегу, за высоким глиняным забором, располагалось какое-то строение. Это, как потом оказалось, был магазин и одновременно притон контрабандистов. Возчик предложил мне переправиться через речку, посетить магазин. Пограничная застава бывает только раз в неделю, и жители села постоянно навещают ту сторону. Если только кого-нибудь поймают за нарушение границы, то взимают штраф около 25 рублей, но с местного населения этого штрафа не берут, не препятствуя обмену мелочными товарами. С того берега за нами прислали лодку. У хозяина магазина на боку висел солидного размера револьвер Маузера. В магазине на прилавке лежали часы, перочинные ножи, ещё какая-то мелочь. Так я впервые побывал за границей, где находился около получаса, беседа с хозяином магазина. Он усиленно допрашивал меня, не комсомолец ли я, очевидно предполагая увидеть во мне что-то необыкновенное.

Жители, немцы из Поволжья, встретили меня очень неприветливо. Им не понравился будущий учитель – русский шестнадцатилетний парнишка. Устроили собрание, постановили просить районо прислать другого учителя, называли фамилию известного им человека, немца, очевидно ранее списавшись с ним. Так и уехал я ни с чем обратно, переночевав в коридоре на охапке соломы, жестоко искусанный блохами. В районо мне дали новое назначение в школу-шестилетку в большом богатом селе Александровка, населенном украинцами. Село располагалось в 24 верстах от города Спасска, в двух километрах от железнодорожного разъезда Дроздов дороги, шедшей из Хабаровска во Владивосток. Здесь меня сразу, не заезжая в школу, отвезли к крестьянину Крамаренко: у него прежде жил учитель Неборак, недавно куда-то уехавший. Хозяин меня охотно принял, предоставил в моё распоряжение небольшую комнату и определил плату за питание в 25 рублей в месяц. Заработная плата моя была что-то около 40-50 рублей.

Здание школы было небольшое. Заведывал ею опытный учитель Сизов, болевший чахоткой. Отнесся он ко мне по-дружески и дал задание составлять программу занятий, за что я взялся с большим усердием и прилежанием. Мне предстояло преподавать в третьем классе. Из-за того, что в школе не хватало помещений, сняли большую комнату у зажиточного крестьянина. На стене комнаты висели часы-ходики, ими я руководствовался в распорядке учебного дня. В замочной скважине двери, ведущей в жилые комнаты дома, я часто замечал сверкающий глаз одного из жильцов, ради любопытства подсматривающего за мною. Вначале этот надзор меня очень смущал, но вскоре я к нему привык, так что мои уроки находили постоянных слушателей за стеной.

Ученики мои оказались замечательными детьми, и я до сих пор вспоминаю их с теплотой в душе. С ними я не знал никаких хлопот и не встречал никакого нарушения дисциплины. Усердное отношение их к занятиям совершалось с какой-то особенной упорной крестьянской серьезностью и

деловитостью. Во время занятий в классе всегда царила тишина, и какие-либо разговоры между учениками не происходили. До сих пор меня удивляет, откуда черпали дети такую тягу к знаниям и уважительное отношение к учению. Быть может, этому способствовали мой энтузиазм, старание или дисциплина, установленная предшествующим учителем? Скорее всего, сказывалась обстановка трудовой крестьянской жизни, быта, а также отсутствие в то время той лавины информации, которой так перегружена современная жизнь. В то время в школе и селе отсутствовала библиотека, не существовало ни радио, ни кино, ни, конечно, телевидения.

Часто, закончив уроки, я спрашивал: - Ну что, сегодня что-нибудь читаем из книг? Ответ всегда был согласным, дружным и единодушным. Дети с громадным интересом слушали моё чтение, а заведующий школой и учителя-коллеги удивлялись, почему иногда я надолго задерживаю учеников после окончания занятий. Но на перемене все выбегали на улицу и бесились во всю силу. Не видел я среди учеников и никакой неприязни друг к другу и не припомню никаких конфликтов между ними. Тогда мне казалось, что так и должно быть в школе. Всё здесь мною сказанное - чистейшая правда без тени какого-либо преувеличения.

Вечерами, особенно зимой, на улицах собиралась молодежь, пели частушки, сидели на скамейках, балагурили. Иногда парни приглашали меня, но я стеснялся. Застенчивостью я обладал в избытке и много лет страдал от неё. В селе ко мне относились уважительно, и когда со мною почтительно здоровались пожилые люди, я сильно смущался. Кроме того, в селе при встрече друг с другом вообще все здоровались, таков, оказывается, сельский этикет, казавшийся мне, жителю города, странным. В первые месяцы жизни меня поражала необыкновенная образность и колоритность украинской речи. Почти каждая фраза сопровождалась ярким и красноречивым сравнением с чем-либо. Ничего подобного в городе я не слышал.

Вскоре по своей инициативе я завел две большие тетради, их называли "общими", дал задание ученикам: в одну из них записывать частушки, в другую - приметы погоды. Мои ученики отнеслись к заданию со всей серьезностью. Обе тетради стали быстро заполняться. Думаю, всё это происходило не без участия и советов взрослых. Прежде чем внести в тетрадь что-либо своё, каждый прочитывал ранее записанное, поэтому повторения отсутствовали. К концу учебного года тетради были заполнены почти до конца. Обе они представляли большой этнографический интерес. Как я жалел, когда впоследствии их кто-то у меня украл! Кто и зачем это сделал?

Частушки отражали жизнь селян. Сочинялись они на самые разные темы: бытовые, шуточные, свадебные, политические. Вот некоторые из них, случайно запомнившиеся:

- Все пришли, все пришли, все по лавкам сели, а моего и твоего наверно кошки съели.
- Приезжали меня сватать на серой кобыле. Обернулись назад - жениха забыли.
- Эй ты, Нютка, сера утка, не летай с конца на край, тебе вымажут ворота и растащут весь сарай.

- Не ходите девки замуж, замужем невесело. Я какой была веселой, а голову повесила.
- Пойду я в лес, поставлю крест, пускай миленок молится. Разрешите, господа, с вами познакомиться.
- Мы ребята ежики, по карманам ножики, по три гири на весу и наган на поясу.
- Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана, девок резать, баб душисть, всё равно в Сибири жить.

Записи о приметах погоды отражали множество самых разнообразных народных наблюдений. Например, перед непогодой бык кладет хвост на спину (в селе далеко не все владели лошадьми и использовали по опыту родины быков на сельскохозяйственных работах). В печке пепел скатывается клубками перед дождем (печи в селе топили соломой, лес находился далековато, да и солому куда-то следовало использовать).

В свободное от занятий время вместе с хозяином ходили на рыбную ловлю. Выбирали одно из озер, их было множество в Приханкайской низменности, расчищали снег, вырубали во льду большую лунку и потом резко пробивали в ней окно до воды. Моментально в лунку вырывалась вода с множеством мелкой рыбы и лягушек. Две-три таких лунки - и улов наш едва вмещался в небольшой мешок. Мелкая рыба, поджаренная на масле сюдзы (культивировалась такая масляничная культура из Китая)⁴, была необыкновенно вкусной. Ещё в проруби ставили верши. Я с увлечением вязал их, чему научил меня хозяин.

Один раз вызвался ехать с хозяином за соей к границе. В то время Китай подвозил к нашей границе сою, здесь груз брали на подводки крестьяне и доставляли на разъезд Дроздов, откуда она направлялась во Владивосток и оттуда куда-то морем в другие страны. Выезжали ночью всем селом, возвращались к вечеру. Как-то один из мужичков вздумал утаить мешок сои. Пропажа быстро вскрылась, и провинившегося всенародно посрамили. В селе поступки каждого всегда оказывались на виду всего общества, что способствовало нравственности.

Иногда мы, учителя, во время каникул ездили в большое соседнее село Зеньковку на, как тогда называли, кустовое совещание. Там я сделал доклад о краеведении, тогда широко распространенном увлечении интеллигенции в обстановке дефицита профессиональной науки. Доклад всем очень понравился. Идеи краеведения я перенял у отца-краеведа. Теперь слово "краевед" в устах ученых звучит едва ли не презрительно.

Зеньковские учителя, особенно заведующий школой и другой его помощник и друг, оба очень приветливые и хлебосольные, мне очень нравились и казались большими специалистами своего дела. Такими они и были в действительности. Ко мне они относились с полным дружелюбием, как к равному, немало этим меня смущая. Несмотря на мой возраст и положение начинающего, я не видал от них никакого зазнайства. Оба они, как мне потом рассказали, погибли во время сталинских репрессий. За что, за какие провинности?

Как-то мы во время кустового совещания, происходившего во время школьных каникул, собрались в деревенском клубе, и тогда во время перерыва на сцену вышел один из молодых учителей из какой-то близкой деревеньки и спел

коротенькую, показавшуюся мне необыкновенно прекрасной, песню. Голос его с необычно приятным тембром взволновал меня, и я всячески стал уговаривать его бросить преподавательскую работу и немедленно учиться пению, совершенствовать свои способности. Судьбу его я не знаю. В те времена провинция, особенно такая далекая как Дальний Восток, не способствовала расцвету талантов, и многие из них угасали, не оставляя после себя следов. К тому же, Москва находилась далеко, и поезд до неё шел одиннадцать-двенадцать дней.

В школе села Александровка работало шесть учителей, двое мужчин и четверо женщин. Наш коллектив мне казался очень дружным, а все мои коллеги - прекрасными людьми. Может быть я их идеализировал, не различая по молодости человеческих недостатков. Каждый из нас был занят своим делом, друг к другу не касаясь. Никаких производственных совещаний, разбора уроков и тем более обсуждений поведения учеников не существовало. Ко мне только один раз на урок пришел заведующий и, посидев полчаса, ушел, не сказав ни слова. Ещё тогда мне казалось, что каждый из нас обладал чувством ответственности и увлекался своим делом. Вообще, тогда в обществе царила преданность труду, как одному из неперенных условий человеческой жизни.

СЕЛЬСКИЕ БУДНИ

Иногда в небольшом клубе при сельском совете ставили какую-либо пьесу, чаще всего на тему о Гражданской войне. Обычно её приурочивали к христианским праздникам, чтобы отвлечь молодежь от религии, в то время считавшейся враждебной идеалам коммунизма, хотя на антирелигиозные темы в школе разговоры не велись, и никто нас, учителей, к этому не принуждал. Молодежь дружно посещала наши театральные представления, тем более, что они были редки, но по их окончании столь же дружно направлялась в церковь.

В клубе немного играли на струнных инструментах. С ними было очень непросто. Приобрести в магазинах балалайку, мандолину или гитару было невозможно, они не продавались. Умельцы мастерили их сами. Таким был Саша Ефиценко, бледный хрупкий молодой крестьянин, начитанный, болевший туберкулезом. Не могу припомнить, чтобы в селе раздавались звуки гармошки.

Едва я заработал деньги, как продал соседу свою одностволку и купил двустволку 12 калибра. Меня, конечно, обманули, подсунув ружье старенькое и неважное.

Долгая учительская зима пролетела незаметно, а когда наступила весна, я стал ходить на охоту в окрестности села. Здесь всюду проходил пролет дичи, и небо усеивали вереницы гусей и стаи уток. Для того, чтобы спрятаться от зорких глаз гусей следовало, по советам бывалых охотников, хорошо замаскироваться и, кроме того, не смотреть на птиц, взглядывая на небо только перед самым выстрелом, когда добыча летела уже над головою. Вечерние зорьки произвели на меня глубокое впечатление. Спрятавшись где-либо в кустах возле болота, я с нетерпением ожидал перелета уток. Солнце садилось за горизонт, и когда небо начинало полыхать багровым закатом, перед тем как погаснуть, в темноте, в

глубокой тишине, вдруг наступало какое-то буйство летящих уток, сопровождавшееся их криками.

Больше всех плотными стайками летели небольшие утки-клохтуны, оглашая воздух своеобразным клекотом. Везде, но, как мне казалось, только не надо мною летели бесконечные стаи уток. Я страшно нервничал, сердце моё билось в невероятном темпе, и когда представлялась возможность, торопясь, почти не целясь, стрелял и часто мазал. Когда же мне выпадала удача, возвращаясь с охоты, я нес добычу с гордостью, будто совершив героический поступок.

К весне умер директор школы, оставив вдову и двоих детей. В последние часы жизни, почувствовав приближение смерти, на рассвете, он послал за мною, желая, чтобы я его отвез в больницу города Спасска. А до города было двадцать верст. Когда, наспех одевшись, я прибежал в школу, он жил в этом же здании, то застал его уже бездыханным. Человек всегда живет надеждой и до самой последней минуты жизни всё еще думает о спасении. Такова особенность нашей психологии инстинктивного самообмана. Потерявший надежду теряет и смысл своего существования и тогда нередко кончает жизнь самоубийством. Надеждой живет всегда молодость, тем она и прекрасна. К старости надежда угасает, и жизнь становится нередко тягостной.

Мы, учителя, горевали о кончине своего заведующего. Похоронив его, с сочувствием проводили его жену с детьми в город Сучан к родственникам.

В селе имелась приобретенная сообща какая-то большая, едва ли не работающая силою пара, машина для обмолота зерна. В её использовании участвовало сразу много дворов, после чего устраивался совместный ужин (кажется даже без вина). Пьяных в селе я никогда не видел, а если в праздники кто и напивался, то, опасаясь осуждения односельчан, из хаты не показывался. Мой хозяин не курил и не пил. Цепями молотили в высоком просторном сарае - клуне, имевшемся в каждом дворе. Я пробовал работать цепями, но очень быстро уставал, убеждаясь в том, что крестьянский труд требует значительной физической силы и выносливости.

Однажды ночью меня разбудила хозяйка. - Зарядите ружье, кто-то к нам ломится в дверь! - прошептала она испуганным голосом. Её дети Миша и Люба, оба мои ученики, встревоженные, сидели на кровати. Хозяина дома не было, он уехал покупать лошадь. Дверь действительно вздрагивала, кто-то настойчиво и сильно её дергал. Всё это казалось необыкновенным. В селе не было ни хулиганства, ни воровства, ни тем более разбоя, да и на что могли рассчитывать грабители крестьянской семьи середняка.

- Убирайся отсюда, прострелю тебя через дверь жаканом! - закричал я, держа в руках свою двустволку со взведенными курками. В углу комнаты хозяйка прижимала к себе перепуганных детей. Дергание двери на несколько секунд прекратилось, но затем снова началось. "Стрелять мне или нет?" - думал я. Надо попытаться разглядеть через маленькое боковое оконце кто там. Вдруг там какой-либо потерявший сознание путник. Прижался к стеклу и в ночи различил круп нашей коровы. От тревоги ничего не осталось, и я распахнул дверь. Умное животное, собираясь телиться, обратилось к своей хозяйке за помощью,

забралось на крыльцо, стало дергать дверь, цепляясь рогами за ручку. Проснувшись утром, я уже застал в кухне чудесного теленочка.

На окраине села существовала небольшая коммуна. Мы, учителя, как-то получив приглашение, её посетили. В ней работало человек двадцать. Ими руководил председатель, судя по рассказам местный мужчина. Я не понял преимуществ коммунального хозяйства и быта этого объединения, но крестьяне всячески посмеивались над этой коммуной, казавшейся им подневольной, и опасаясь, что над ними может установиться подобная форма существования. В то время надвигалась коллективизация сельского хозяйства. Разговоры о ней шли самые разные. Большинство опасалось как грядущего несчастья. Так был силен у жителей села дух хозяина-собственника или, как принято было тогда говорить, единоличника. Всем казалась страшной опасность разрушения привычного уклада крестьянской жизни. В селе были и зажиточные крестьяне, но кулаков, в принятом понимании этого слова, не было. Несколько дворов бедноты, как мне объясняли, принадлежали тем, кто не желал работать, и попросту был лентяем. Богатая природа края и обилие земли позволяли трудиться и жить хорошо. Всё это как то плохо доходило до моего сознания, и всеобщее беспокойство крестьян мне было непонятным.

Однажды в селе созвали всех на общее собрание, пригласили и нас, учителей. Из города приехали два молодых человека - агитаторы. Разговор шел о предстоящем обобществлении чего-то, не помню, по всей вероятности зерновых посевов. Мужички шумели, возражали. Агитаторы, видимо, добивались какого-то постановления общего собрания и, видя, что оно не удастся, сказали, что детей тех родителей, которые будут противиться решению, не примут в школу. Тут я не выдержал и, несмотря на свою политическую неосведомленность, если не сказать грубее - неграмотность, заявил, что дети не должны отвечать и страдать за поступки своих родителей. Я был, конечно, интуитивно прав, но уже в то время подобное высказывание звучало явной крамолой, если не сказать по принятой в большевизме классификации - контрреволюцией. После моих слов собрание зашумело ещё больше, в поддержку моих слов раздались громкие окрики. Вышло так, что предложение агитаторов не приняли, и они после того, как все разошлись, крепко со мною поругались, тем более, что я продолжал стоять на своём, не соглашался с ними. В 1929 году подобная вольность учителя прошла безнаказанно, и я не испытал на себе никаких мер воздействия. Но если бы я оставался жить в селе дальше, мне этот поступок стоил бы жизни.

ИНСТИТУТ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ

Прошла весна, кончились занятия в школе, и я поехал к родителям в Хабаровск, предполагая возвратиться обратно к началу учебного года. Но судьбе было вольно распорядиться иначе. Меня порекомендовал всё тот же преподаватель естествознания Эмме в открывшийся научно-исследовательский институт защиты растений от вредителей сельского хозяйства, куда я и поступил лаборантом в отдел зоологии. С мая 1929 года началась новая жизнь. Жалел ли я

об учительской работе? Немного да. Мне нравились ученики, простодушные крестьяне, их образная речь.

Всего лишь около трех лет проработал я в этом учреждении, но какими они показались мне долгими по обилию впечатлений!

Летом мы поехали в хорошо мне знакомый город Спасск. В то время в Уссурийском крае усиленно развивали рисосяние. Этим делом занимался специально созданный трест Дальрис. В Приханкайской низменности на реке Сантахеза ⁵, недалеко от впадения её в озеро Ханка, вырос большой совхоз, а недалеко от него - научно-исследовательский городок из нескольких капитальных зданий и деревянных домиков на полозьях. В двух таких домиках мы и поселились. Мой начальник, молодой зоолог, только что закончивший что-то вроде ускоренного высшего учебного заведения под названием ИЗИФ (институт зоологии и фитопатологии) оказался человеком своеобразным. Хорошо воспитанный, компанейский, с аристократическими замашками, быстрый, смелый, он любил волочиться за женщинами и тратил на это массу времени. В общем житейски он был славный малый. Над своей профессией, как я быстро понял, он не задумывался, книг никаких не читал, всю работу возложил на меня, нещадно эксплуатируя и пользуясь моей застенчивостью, совестливым отношением к труду и работоспособностью. Как я потом понял, большинство моих дел совершалось напрасно, хотя внешне и выглядело наукообразным. Мы изучали серую крысу - пасюка, как вредителя рисовых плантаций. Я ставил бесчисленное множество капканов, ловил крыс и бездну времени тратил на отвратительное и нудное дело - изготовление так называемых академических тушек. Всё это было данью видимости так называемой зоологической работы, исследовательской экспедиции в неизведанной стране по изучению видового состава мира позвоночных животных. В нашей работе изучение биологии и вредоносности серой крысы подменялось созданием никому не нужной коллекции этого банального и широко распространенного по всему свету животного. А так как я честно собирал свой улов из многочисленных капканов, то получалось так: все давно, кончив работу, уходили отдыхать, купаться в реке, играть в волейбол, а я корпел над отвратительными крысами, измеряя их туловище, сдирая с них шкурки, смазывал их мышьяковисто-кислым натрием, набивал ватой, варил в воде и очищал от тканей череп, писал этикетки. Сколько труда у меня ушло на эту никому ненужную работу, все коллекции оказались бесполезными, валялись в ящике шкафа института никому не нужные и неинтересные. Кроме того, я по своей инициативе раскапывал норы крыс, зарисовывал их строение, определял содержимое желудка. Попутно для себя вел наблюдения над птицами, записывая всё, что видел и казавшееся мне интересным, в толстую книгу, на обложке которой написал крупными буквами слово AVES (птицы). Иногда делал чучела птиц, осваивал фотографию, пользуясь казенным фотоаппаратом, охотился с большим ирландским сеттером Пимом, неожиданно прибежавшим на нашу станцию и также неизвестно куда исчезавшим. В общем, дел у меня была масса, и с утра до вечера я был занят по горло.

За лето я исписал толстую тетрадь наблюдений над птицами, по типу в то время бытовавших фаунистических заметок орнитологов. Теперь я понимаю, что

тогда у меня не нашлось хорошего учителя по зоологии, мой же начальник сам нуждался в наставниках. Да и не в его интересах было потворствовать сторонним увлечениям своего помощника! Тетрадь эта не сохранилась, и когда она пропала, не помню.

На станции собралась большая и хорошая компания молодежи, веселая, жизнерадостная, беспечная. Откуда-то выписали струнные инструменты для самодеятельного оркестра. Руководил им молодой человек, агроном, с азиатскими чертами лица и русской фамилией Соколовский. Он отлично играл на гитаре. Всегда спокойный, с чувством достоинства, сочетавшегося с каким-то особенным мягким благородством. По всей вероятности, он происходил из челдонов - потомков сибиряков-первопроходцев, перемешавшихся с коренным населением. Это был природный тип руководителя, атамана. Из таких людей во время социальных потрясений выходили народные герои. Такие люди в сталинские времена неизбежно попадали в лагерь, где погибали. Он научил нас нотам, и мы с увлечением вечерами разучивали Шопена и Шуберта. Мне досталась мандолина. Как меня тогда поражало, когда из усилий каждого из нас, игравшего на своём инструменте, возникала чудесная и одухотворенная музыка.

Часто ездили по реке Сантахеза на лодках на большое озеро Ханка, оно отстояло от станции в нескольких километрах, бродили по болотистым просторам Приханкайской низменности, изредка вечерами всей компанией ходили в совхозный центр, где в столовой пили пиво. Для меня это было первое знакомство с напитком, содержащим алкоголь. Иногда выпускали стенную газету, о чём-то спорили на профсоюзных собраниях, иногда устраивали небольшие театрализованные представления. Тогда профсоюзы имели большое значение в общественной жизни. Здесь же я впервые пристрастился к пишущей машинке, принадлежавшей канцелярии нашего городка, печатал на ней вечерами.

Вокруг городка простирались опытные рисовые поля. На них работали трудолюбивые корейцы. Серая крыса приносила вред, пробуравливая земляные дамбы каналов, по которым орошались поля. На опытных делянках выращивались разные сорта риса. Везде виднелись столбики с деревянными дощечками. На полях всюду стояли заметные издали белоснежные цапли. Их здесь обитало больше, чем цапель обыкновенных серых, хотя, рассказывают, эту птицу раньше нещадно истребляли из-за прекрасных перьев, продававшихся за рубеж, где ими украшали дамские шляпки.

Питались хорошо, в столовой, повар Миша-китаец готовил отлично. Он очень любил играть в волейбол, восклицая "О как прекрасно, как сумасшедши хорошо!" Как-то нашли маленького барсучонка, воспитали его. Был он вначале ласковым, потом к концу лета стал куда-то скрываться, прибегал кое-когда. Я попытался по старой привычке его погладить, но он очень больно цапнул меня до крови за руку.

Один раз ночной ураган нагнал из озера Ханка так много воды, что весь наш городок неожиданно оказался затопленным, и между домами пришлось плавать только на лодках. Но вскоре ураган затих, и вода также быстро ушла, как и появилась.

В деревянном домике, в котором я жил и работал, ещё жил молодой агроном Бегалько, заканчивавший сельско-хозяйственный техникум. Мы с ним

подружились. Он проходил преддипломную практику. Долговязый, веселый, активный и убежденный комсомолец, поверхностно вкусивший азы политической науки, он представлял собою типичнейший образец нового поколения, выпестованного Советской властью. Как-то на общем собрании он покритиковал меня за то, что я своевременно не сделал рисунки к стенной газете. Его выступление я посчитал предательством, поскольку он знал хорошо, как я был сильно загружен работой.

Через три года Бегалько разыскал меня в Хабаровске, он уже служил в Красной армии в чине лейтенанта. Очень скорбел о потере своего времени, как специалиста-агронома, жаждал военных действий с японцами и возможности проявить личное геройство во имя будущего коммунизма. После известного Хасанского военного конфликта с японскими войсками Бегалько исчез, и я опасаюсь - погиб. Тогда, как мне рассказывали, японские снайперы перестреляли немало наших молодых командиров.

Лето быстро пролетело, и когда наступила осень, мы возвратились в Хабаровск. Институт защиты растений находился далековато от нашего дома, где-то за Плюсинкой, в бывшей военной казарме. Тогда уже почему-то мне, лаборанту, стали давать ответственные задания. В начале зимы послали на станцию Обор километрах в 70 от Хабаровска. Там серые крысы буквально уничтожили 14 вагонов овса, сложенного под большим навесом и предназначенного для лошадей, работавших на лесозаготовках. Когда остатки овса убрали, я увидел множество нор и землю, перемешанную с испражнениями крыс. После разбрасывания отравленных приманок очень много крыс погибло. Начальству лесозаготовок я оставил чертеж сарая на столбах-сваях. На каждом столбе полагалось укрепить по кольцу из жести, препятствующих заползанию этих грызунов. Через несколько лет, попав на эту станцию, я увидел большой амбар, построенный по моему плану.

"УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ"

Потом зимой меня послали в долгую командировку в село Тамбовку Амурской области, расположенное километрах в сорока от города Благовещенска на Амуре, где я должен был работать уполномоченным по защите сельского хозяйства от животных-вредителей. Полагаю, что это задание предполагалось для моего непосредственного начальника, а не для меня, 17-летнего юноши. Начальник обычно на всю зиму скрывался в Ленинград. Теперь я понимаю, что работа не соответствовала моему официальному положению лаборанта.

В Тамбовском районе, одном из самых богатых по сельскому хозяйству, на меня возложили организацию борьбы с амурским сусликом, почему-то называвшимся "якутским". Этот грызун вредил зерновым посевам, поселяясь на пахотных землях. Моё рабочее место находилось в районном отделе райисполкома (райзо). В нём работали председатель, главный агроном и конторщик. Никто мною не руководил и не давал никаких заданий, я был предоставлен самому себе и своей инициативе. Мне приходилось объезжать все сёла, читать лекции о вредителях сельского хозяйства, организовывать в каждом

селе бригады по борьбе с сусликом. Весной предполагалось провести массовую затравку этого грызуна хлорпикрином и сероуглеродом.

Ранней весной для поездок по сёлам мне выдали молодую лошадку и повозку-двуколку. Лекции я натренировался читать быстро и легко, слушали меня с большим вниманием, быть может потому, что все остальные лекторы, иногда приезжавшие в деревни, посвящали свои выступления политическим темам.

В то время деревня жила очень тревожно. Перед самым моим приездом прошла первая волна коллективизации. Многих крестьян, не чувствовавших за собою никакой вины, постигло несчастье так называемого раскулачивания и жестокого выселения вместе с семьями в товарных вагонах в дальние северные необжитые края. Сельскому хозяйству, лишившемуся крепкой рабочей силы, а также от обобществления скота и сельхозорудий и произвола властей грозил развал. Народу был нанесён громадный материальный и нравственный урон, как теперь стало особенно ясно после осуждения печального прошлого.

В сёлах я всюду встречал жалких и перепуганных председателей сельских советов, молчаливых и удручённых мужичков. И всё же многое я не знал, в то время многое умалчивалось, а старшие опасались своих детей, большая часть которых, не сознавая обмана, следовала безоговорочной фальсификации правды, преподносимой под флагом высоких идеалов грядущего коммунизма.

Пришла весна, и в Первомайские праздники, они кажется совпали с Пасхой, я с несколькими парнями на подводах поехал на какую-то железнодорожную станцию за бочками с сероуглеродом и хлорпикрином. В деревнях молодёжь играла в лапту, водила хороводы. Но всё это делалось как-то невесело, будто больше по привычке.

Во время поездок по сёлам кое-когда мне встречалось высокое начальство - районный уполномоченный по коллективизации, персоне важная из числа мобилизованных с заводов рабочих. Эти необразованные и малограмотные люди, не понимавшие сельского хозяйства и уклада крестьянской жизни, управляли судьбами деревни, проводили раскулачивание и, быстро войдя во вкус неограниченной ничем власти, вели себя самоуверенно, воображая вершителями судеб, попирая свободу личности, совершая беззакония в обращении с простыми несчастными сельскими труженниками. Однажды я встретился с таким оперуполномоченным. Он завалился в сельсовет с суровым и важным выражением лица, облачённый в большую доху с демонстративно болтавшимся на боку маузером. Перепуганный председатель сельского совета, едва ли не заикаясь и бледнея, пресмыкался перед этим царьком и бегал перед ним, семеня мелкими шажками.

В одном селе я застал печальное событие. Предстояло закрытие церкви, снятие с купола креста и колокола, сопровождавшееся митингом. Собравшаяся толпа угрюмо молчала. Больше всех было пожилых женщин. Кое-кто из них украдкой вытирал слезы. Какой-то маленький вертлявый мужичок полез на крышу, долго там ковырялся, размахивая ломиком и, наконец, с грохотом сбросил крест на землю. Тогда, по глупости, мне думалось всё происходящее хотя и скорбным, но необходимым, как тяжкая хирургическая операция ради

выздоровления организма от старого недуга. О грядущем коммунизме, ради которого всё это совершалось, я имел очень смутное представление.

Весной по всему району прошла кампания борьбы с сусликами, ради которой я был командирован в Амурский край. В то время затевался подъем сельского хозяйства на научной основе, и всё это, как я теперь понял, выглядело по меньшей мере нелепым в сравнении с акцией коллективизации, разорившей крестьянство. Нелепой оказалась и вся моя работа, так как на следующий год, когда грянула голодуха как последствие коллективизации, мужички переловили всех сусликов, их мясо оказалось вполне пригодным для питания.

В большом районном селе Тамбовка работал сельский клуб. Я легко подружился с молодежью и комсомольцами, хотя сам не состоял в Комсомоле. Иногда в клубе показывали кино. Как-то товарищ прислал записку: "Приходи вечером, пойдем в клуб". Он жил один в доме, его родители куда-то уехали. По-видимому, я немного запоздал, или мне умышленно указали такое время. Компания собралась раньше моего появления, в доме сидело уже около десяти парней и девчат, многие из них мне незнакомые. Все они мне показались слегка возбужденными, но почему - понял только потом. Оказывается они немного выпили водки, но от меня скрыли, боялись постороннего горожанина, к тому же работающего в райисполкоме, хотя я всегда держался просто, приветливо и никогда не придавал своему положению особенного значения. Так уж видимо повелось: всё новое и враждебное связывалось с приезжавшими из города.

В то время в селе царил невероятная весенняя грязь. Собрались уже выходить из дома, как вдруг в комнату заскочила одна девушка, прежде всех вышедшая на улицу, что-то прошептала на ухо одной, другой, и тогда все неожиданно бросились в разные стороны, в том числе и парень - хозяин дома. Лишь одна девушка осталась, она была мне ближе всех знакома, её звали Лида, работала она продавцом в книжном магазине, который я нередко посещал. Она помчалась не на улицу, а во двор. Вся эта промелькнувшая сцена показалась мне необычной, я понял, что-то произошло. Подумалось, что появился вор, и я, воображая себя рыцарем, опередил Лиду, когда она попыталась заскочить в сарай. В сарае очень темно, тихо, слышно мерное дыхание коровы. Провел впереди себя рукой и вдруг... наткнулся на человеческое лицо и длинные волосы. Ещё повел рукой, присел на корточки, чтобы разглядеть кто передо мною на более светлом фоне неба, проглядывавшем через большую дыру в крыше, и понял: на веревке висела женщина.

- Скорее тащи нож перерезать веревку! - закричал я и, схватив повешенную за ноги, приподнял её кверху. Моя помощница быстро примчалась из дома, перерезала как оказалось не веревку, а шарф, тело повешенной я опустил на землю, освободил от петли. Потом оба понесли самоубийцу в дом. В этот момент женщина захрипела, и на меня ударил резкий запах алкоголя. Звали её, как потом оказалось, Катя Зубкова. С трудом внесли её в дом, рослую, красивую, для меня совсем незнакомую, уложили на пол. Я тотчас же стал делать искусственное дыхание. Лида же скрылась, побежала разыскивать врача. Наверное час или даже больше я мучался над несчастной, вспотел от усиленной работы, время проведенное в одиночестве с пострадавшей мне показалось целой вечностью, да еще и в полутемном помещении, скудно освещаемом светом

керосиновой лампы. Мелькала мысль, что и Лида, перепугавшись, оставила меня одного в пустом доме в этом трудном положении. С облегчением наконец услышал голоса: появилась Лида вместе с врачом и фельдшером. Увидев меня, врач громко и ободряюще крикнул: - Правильно, правильно, молодец, так и следует делать!

Когда я один мучался над Зубковой, мне пришла нелепая мысль, при помощи ножа разжать плотно стиснутые челюсти женщины, чтобы облегчить дыхание. Операцию эту мне сделать не удалось, челюсти не раскрывались, лишь обломался кончик зуба.

Несколько часов до самого рассвета мы продолжали бороться за жизнь несчастной, раздевали её, обворачивали в смоченную горячей водой простыню. К утру она, не приходя в сознание, заснула, её дыхание стало ровным и глубоким.

Повесившегося человека можно спасти только в течение трех-четырёх минут, так что наша пациентка находилась на грани смерти или почти за её гранью и спаслась только благодаря энергичному искусственному дыханию. Утром мы с Лидой отвезли её на подводе в больницу. Там несколько дней она находилась как бы в полусне, полубеспамятстве, жаловалась: "Зуб вырос, царапает язык".

В кармане Зубковой нашли письмо от мужа. Молодой парень уехал из деревни во Владивосток, прожил там некоторое время, освоился, устроился и написал своей жене, что возвращаться обратно не желает и считает все отношения с нею порванными. Эту трагедию она очень сильно переживала, не скрывая от друзей. Те, желая её успокоить, из сочувствия, по душевной простоте, угостили большой порцией водки. Тогда она, опьянев, и решила кончить счеты с жизнью, повесилась на шарфе. К этому трагическому случаю деревня отнеслась своеобразно. Мне, её "спасителю", как объявил всем доктор, говорили: "Зачем такого человека спасать, раз задумала повеситься! Надо было за ноги даже подергать!" Всё это меня крайне удивляло и удручало. Потом понял: самоубийство порицалось православной церковью, и это порицание прочно укоренилось в сознании.

Примерно через месяц или немного меньше я случайно встретил Катю Зубкову на улице. Тогда она мне сказала: "Все говорят, что ты меня спас. Зря ты это сделал. Всё равно я повешусь!" Сильно смущаясь, я стал отговаривать её от этой безумной затеи, что-то бормотал по этому поводу банальное, поругал слегка, уверял, что перед ней, молодой, красивой, еще много в жизни будет хорошего, и горе вскоре забудется... Но, смущаясь, не смог выразить свои мысли убедительно, тем более от чувства человеческого к ней сострадания и симпатии, и когда эта мимолетная встреча приходит мне на память, то ощущаю острое угрызение совести, как бы от незавершенного долга спасения человеческой и, по-видимому, чистой души.

Друзья мне говорили, что причина её поступка еще объяснялась обстановкой в семье. Её, комсомолку, родители, настроенные консервативно, постоянно попрекали Советской властью. Уйти от родителей она не могла, устроиться работать в селе - тоже, а уехать молодой женщине в город на поиски работы, кто тогда мог решиться на такой смелый шаг. К тому же тогда крестьянам не давали паспорта, а без него некуда деться в городе.

Потом, как будто, Катя поправилась, забыла пережитое, выглядела вполне здоровой, нормальной, хотя не сомневаюсь, что её угнетало порицание окружающих. Финал этой истории печален. Как мне сообщил в письме товарищ, когда я уже находился в Хабаровске, она ночью вышла из дома, добралась по лестнице до стропил сарая-клуни и повесилась. Вскоре после этого в клубе был устроен диспут на тему: "Имел ли право кончать жизнь самоубийством комсомолец".

Печальный эпизод, в котором я оказался случайным участником, мне показался трагедией: эта женщина, как мне рассказали, была преданной женой. Измена мужа, отношение родителей и невозможность обрести самостоятельность и независимость от них, первая попытка самоубийства, порицание общества и отсутствие теплого дружеского соучастия поставили её в безвыходное положение. По иронии судьбы таким женщинам чаще всего попадают ничтожные мужья. И наоборот. Природа будто нивелирует характеры, сглаживая крайности и препятствуя проявлению резких отклонений от установившихся норм.

ГОРОДОК НА РЕКЕ САНТАХЕЗА

Из Тамбовки я уехал ранней весной 1931 года и, прибыв в Хабаровск, стал готовиться к отъезду на рисовое поле на Сантахеца. Там с радостью застал прежнюю компанию, но мне опять пришлось возиться с изготовлением тушек из крыс и испытывать на себе барственное отношение своего начальника, слава богу, часто уезжавшего куда-то и зачем-то.

Лето 1931 года на рисовых полях выдалось тревожным. Через границу, а она отстояла от нас километров на сорок, переправившись через Сунгача, куда я ездил, получив первое назначение учительствовать, из Китая перешла в нашу страну вооруженная, возглавлявшаяся офицером Моховым, партия белогвардейцев. При переходе её основательно потрепали пограничники, но сохранившаяся часть затаилась где-то в безлюдной восточной части Приханкайской низменности, в её тростниковых джунглях. Предполагалось, что диверсанты - мы их так называли – должны перейти через реку Сантахеца, после которой путь к железной дороге и в тайгу за нею будет открыт. На нашей станции моментально организовали отряд Осоавиахима ("Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству", впоследствии переименованное в ДОСААФ - Добровольное общество содействия Армии, Авиации и Флоту). В то время эта общественная организация, широко распространенная среди молодежи, работала хорошо. Мы, мужчины, все получили винтовки, одели гимнастерки и брюки военного образца. Теперь каждый вечер после работы проводились занятия. Руководил отрядом наш главный музыкант Соколовский, командир взвода запаса. Как только начинало темнеть, наряд из трех человек, тайно, скрываясь в тростниках, пробирался по речке Сантахеца на два-три километра вниз по течению. Там на противоположном берегу стоял одинокий дом. В нём жил вместе с женой и сыном рыбак по странной фамилии или прозвищу Козел. Затаившись против его

дома, наряд караулил возможную переправу отряда Мохова, намереваясь затеять перестрелку и помешать перейти на противоположный берег. Больше по реке Сантахеза не было никакого поселения и переправы. Затея казалась рискованной. Как могли противостоять отряду в 20-30 человек нас трое даже ночью?

Возложенной на нас задачей мы занимались с воодушевлением, при том что после ночи в секрете продолжали еще и работать. От бессонницы, помню, весь мир начинал казаться нереальным, и сам будто находился в полусне. Так продолжалось около десяти дней. Однажды рано утром, как только показались лучи солнца, на крышу своего дома взобрался старик Козел и, прикрывая глаза ладошкой, стал всматриваться в ту сторону, откуда могли подойти белогвардейцы. В этот момент мой товарищ Валентин Грязнов поднял винтовку и, передернув затвор, стал целиться в старика.

- Что ты делаешь! - прошипел я Валентину, положив руку на ствол оружия.

- Не мешай, сейчас сниму его. Видишь, он ждет бандитов!

Кое-как я отговорил Валентина от самовольной расправы, тем более указания на подобные действия нам никто не давал. Находясь в секрете, мы не боялись возможного столкновения с воображаемым противником, наоборот, жаждали встречи с ним. По ночам нас мучали полчища комаров.

На два дня наш командир отменил наблюдение за Козлом, и в эти дни Мохов переправился на левый берег Сантахезы, а в следующий день поздно вечером мы натолкнулись на него где-то в тростниках и затеяли бесполезную перестрелку. Ночи стояли удивительно темные.

Вскоре отряд Мохова перешел железную дорогу и углубился в тайгу. А мы всё еще долго соблюдали дисциплину военного времени, хотя в этом уже не было никакой необходимости. Каждый вечер проводились занятия как на военные, так и на политические темы.

Кстати, вскоре после переправы Мохова через нашу речку исчез вместе с семьей и рыбак Козел, бросив на произвол судьбы свой дом. Дальнейшая судьба Мохова своеобразна. Его поручили преследовать в тайге отряду добровольцев-осоавиахимовцев. Всю осень и часть зимы газета "Тихоокеанская звезда", издававшаяся в Хабаровске, печатала примерно такие похожие друг на друга сообщения: "Банду Мохова настигли, при перестрелке убито столько-то бандитов, сам Мохов скрылся с уцелевшими". Преследуемые никогда не ввязывались в перестрелку, никого не убивали. Но осоавиахимовцы устали, поморозились, от отряда Мохова осталось только три человека, сам Мохов и двое его приближенных. Покончить с ними поручили охотникам-промысловикам, они быстро справились с этим заданием.

А потом произошло следующее. Мой товарищ по школе Женя Михнович работал в 1932 году в тайге в топографической партии в том районе, где нашла свою бесславную кончину команда Мохова. Однажды рабочий наткнулся в лесу на три человеческих скелета. У одного из них несколько зубов было покрыто золотыми коронками. Эти зубы рабочий выбил из черепа. В ближайшем селении топографам сообщили, что это останки банды Мохова. Всю зиму на их трупах охотник-кореец ловил колонков капканами. Прибыв во Владивосток, топографическая партия Жени Михновича сдала золотые коронки в магазин

"Торгсин", получив за них несколько пачек дефицитных в то время папирос "Пушка". В те времена простые смертные курильщики пользовались махоркой и табаком-самосадам.

Магазин "Торгсин", в переводе "Торговля с иностранцами", в действительности занимался скупкой у населения золота и драгоценных вещей в обмен на дефицитные товары и продовольствие. Магазины изобиловали ими, что породило такой анекдот: "Мать привела своих малолетних детей в "Торгсин" и сказала: "Смотрите детки, как жили наши предки!"

ГОРОД УССУРИЙСКИЙ

Из Хабаровска институт защиты растений перевели в город Уссурийск, тогда он назывался Ворошиловск-Уссурийский ⁶. По всей вероятности этот перевод был обусловлен тем, что в Приморье располагались основные массивы сельского хозяйства. Здесь учреждение вначале разместили в зданиях, принадлежавших Географическому обществу, - отличных, построенных еще при царе военных казармах. Тут же работали ученые-садоводы, в том числе один лукавый человек, представлявшийся учеником и родственником знаменитого садовода Мичурина.

В то время я продолжал увлекаться фотографией и часто просился поработать в темной комнатке-фотолаборатории, где проявлял пластинки и печатал снимки. Но вскоре мне отказали пользоваться этой лабораторией якобы за то, что я неаккуратен. Эту явную и несуразную несправедливость я остро переживал. Моему начальству просто не нравилось моё увлечение фотографией и успехи в ней, хотя на моих непосредственных обязанностях оно не сказывалось. В то время фотографировать мало кто умел, даже из научных сотрудников. Моему увлечению способствовал казенный и находившийся без дела фотоаппарат, о нём я уже упоминал. В то время наша промышленность еще не выпускала фотоаппараты, и они у нас представляли большой дефицит. До этого фотаппарата я пытался делать их сам по типу "ящичных камер", вставлял вместо объектива линзы от лупы и т.п. Из этих затей ничего толкового не получалось.

Летом того же года приходилось много ездить по разным районам Приморья, выполняя большей частью поручения, далекие и от науки и от практики, вроде выявления видового состава мышевидных грызунов в той или иной местности, видимо ради удовлетворения любопытства к путешествиям моего начальства и составления отчетности о научной работе. Десяток капканов, расставлявшихся в течение двух-трех дней, никакого верного представления о грызунах местности не давал.

В то время стало трудно ездить по железной дороге. Поезда ходили нерегулярно, сильно опаздывая, на станциях скоплялось множество людей, и чтобы сесть на поезд приходилось иногда тратить несколько дней. Какими утомительными были эти ожидания!

Вначале я жил там, где и работал, но потом пришлось перейти на частную квартиру, где мы и поселились вместе с другом Костей Ширгородским, также работавшим в Институте защиты растений лаборантом. Мы с ним очень

дружили. Зима 1932 года была голодная, и мы всё время пользовались столовой, к которой нас прикрепили. Там кормили только одной соленой кетой, на первое суп из этой рыбы, на второе - куски жареной кеты. За эту зиму я так просолился, что два года не мог есть ничего солёного. Оба мы за зиму сильно похудели. Слава богу, нас немного выручала туфа⁷ - сыр из соевых бобов, её разносили и продавали китайцы. Туфа - замечательный продукт, когда к ней привыкнешь, кажется очень вкусной и не надоедает. Говорят, такова особенность всех многочисленных продуктов, готовящихся из соевых бобов - этого замечательного растения, широко распространённого в Китае. Утверждают, что если бы Китай не возделывал это растение, богатое белками, то народ бы сильно страдал от белкового недоедания.

Из Уссурийска, едва ли не каждую субботу, я ездил по железной дороге во Владивосток, до него всего лишь около двух часов езды. Там жили мои родственники - вдова брата моего отца Андрея и её трое сыновей, моряки, часто находившиеся в плавании. Все они хорошо играли на струнных музыкальных инструментах, по-видимому, сказывалась наследственность от деда. Жили они в небольшом собственном домике на склоне высокой крутой горы. Отсюда открывался чудесный вид на всю живописную бухту Золотой Рог и на город. Их отец Андрей Евменьевич умер сравнительно молодым. Как и свойственно всем пожилым людям, его жена Евгения Григорьевна всегда резко критиковала существующие жизненные порядки. Сыновей звали Лёня, Николай, Вадим.

Зима показалась особенно долгой и нудной. Её разнообразили поездки во Владивосток. Мой начальник на всю зиму куда-то скрылся, как всегда кажется уехал в Ленинград. Научного материала, требующего обработки, в центре у нас не было, работа велась, как я теперь понимаю, примитивно. Кое-когда я с ружьем отправлялся пешком по окрестностям города. Сама по себе охота ничего не давала: окрестности города не изобиловали дичью. Но мне было очень интересно разглядывать следы зверей и птиц.

МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ

Долгой зимою, скучая по музыке, я вздумал сделать мандолину, купить её было невозможно. Получилась она плохой: пренебрегая правилами, я сделал деку из фанеры. У меня неплохой слух и звуковая память. Часто, особенно в поезде под стук колес, мне мерещились, как тогда казалось, длинные и сложные чудесные мелодии. Но недостаток моторики сильно мешал игре на инструменте: я часто попадал пальцами куда не следует, страдая от ошибок. С этим недостатком я не мог справиться всю жизнь, он сказался на работе на пишущей машинке. На ней я работаю всегда с опечатками, особенно когда тороплюсь.

Летом 1932 года побывал на Сучане⁸, Посъете, Камень-Рыболове - посёлке на озере Ханка и во многих других местах Приморья. Несмотря на трудности поездок по железной дороге, побывать в различных местах природы казалось очень интересным.

Вскоре я понял, что лямка лаборанта неинтересна, бесперспективна и в какой-то мере унижительна, особенно в подчинении человека, мало знающего, не

любопытного, не любящего природу. Стал подумывать о высшем образовании. Тогда всюду в стране стали появляться высшие учебные заведения. Многие мои товарищи, с которыми я заканчивал школу, стали студентами. Мечтал я, конечно, только о биологическом образовании. Но попасть в то время в вуз было сложно. Принимали только детей рабочих и самих рабочих, но не детей интеллигенции. Мы считались тогда служащими, чем-то вроде изгоев, людей не достойных доверия Советской власти. Кроме того, зачем-то полагалось иметь направление от учреждения, профсоюзной или комсомольской организации. В комсомоле я не состоял, учреждение направление не давало. Мой начальник, как я теперь понимаю, хорошо ориентированный в обстановке, мог бы мне оказать помощь добрым советом, но видимо не желал. В конце 1932 года из Хабаровска я то и дело слал документы в университеты Москвы, Ленинграда, Иркутска, Томска и еще куда-то. Всюду в анкетах полагалось сообщать о том, кто мои родители, каково их имущественное положение, кем я работаю. Сын учителя, по анкете попадавшего в разряд "служащего", сам "служащий", с родителями, имевшими дом, хотя и не приносящий дохода (справка прилагалась от горсовета), не имел шансов на высшее образование. Мне отовсюду присылали отказ. Всё это я тяжело переживал, вместе со мною сильно огорчился отец. Всю жизнь он отдал воспитанию чужих детей, а собственному ребенку не имел возможность дать желаемое образование. Тогда существовал простой путь: надо было наняться куда-либо рабочим, немного поработать, заполучить об этом справку и тогда, несмотря на этот жульнический маневр, двери вузов открывались настежь. Так поступили и кое-какие мои знакомые. Подобный прием я считал обманым и не мог на него пойти. Не было об этом и разговора с моими родителями. Такого было воспитание отца.

В то время я написал, а книжное издательство ДВ края в 1932 году опубликовало мою небольшую брошюрку "Полезные птицы ДВ края". Имелись в виду птицы, приносящие пользу сельскому хозяйству истреблением грызунов-вредителей. В 1931 году в Хабаровске открылся Дальневосточный государственный медицинский институт ⁹. В 1932 году в него поступила моя сестра Галина, моложе меня на два года. С небольшим опозданием, когда уже начался учебный год, я пошел к директору института, захватив с собою только что изданную брошюрку. Профсоюзная организация дала мне еще раньше рекомендацию. Директор института Фабиан Александрович Коган, бегло пролистав брошюрку, спросил: "А как же с зоологией?" Ему я ответил несколькими словами: "Это ещё ничего не значит". Мой ответ удовлетворил директора, и на этом разговор был закончен, меня зачислили на первый курс без всяких экзаменов. В то время без них принимали везде рабочую молодежь, подготовкой она не блистала, и на эту формальность смотрели сквозь пальцы. Директор конечно мог бы не внять моей просьбе, тем более я опоздал к началу занятий. Но он пренебрег формальностями, за что до сих пор храню в душе ему благодарность. В 1938 году его арестовали, но через несколько месяцев выпустили, после чего он не пожелал возвратиться на прежнюю должность и остался заведывать кафедрой.

Итак, осенью 1932 очень голодного года, я стал студентом первого курса медицинского института, намереваясь тайно со второго курса перевестись на биологический факультет какого-либо университета.

Года через два или три после поступления в институт я встретил члена нашей профсоюзной организации, парня хорошего, доброго. Мы все его звали шутя почему-то «графом». В то время прозвища были в ходу, и на них никто не обижался и не придавал им большого значения. Он рассказал как после моего поступления в институт мой начальник, рассерженный моим уходом (еще бы, так добросовестно исполнял поручения, в том числе и сложные) настоял на том, чтобы в медицинский институт отправили от профорганизации письмо с требованием отчислить меня из числа студентов как дезертировавшего с "трудового фронта" (в ходу была такая обвинительная формулировка). "Граф" эту бумажку написал, но не послал, а уничтожил, тем самым решив мою судьбу. С благодарностью вспоминаю его и ценю за порядочность, уже в то время становившуюся редкой. Много раз в жизни я убеждался в великом значении случайности. Послал бы этот пасквиль "граф" в институт, и судьба моя стала совсем иной, я возможно смирился бы со своей судьбой и оставил все помыслы о высшем образовании. Так вместо благодарности за своё добросовестное отношение к работе я заслужил подлость.

Началась студенческая жизнь с самого неприятного впечатления - практических занятий по анатомии человека. Большой анатомический зал находился в обширном подвале. Здесь на столах лежало не менее двух десятков трупов. Первое впечатление от множества трупов было ужасно. Каждый из них, мне казалось, сохранял свой облик натуры, выражение лица, в какой-то мере отражавших прожитую жизнь со столь трагическим концом, оказавшись заброшенным, одиноким и никому не нужным. У некоторых студенток вначале в анатомке происходили обмороки, но, удивительно, вскоре девушки так попривыкали, что едва ли не сидя рядом с трупом, с аппетитом поедали купленные в буфете пирожки. Я же не мог преодолеть отвращения к анатомии за все пять лет учения в институте, чувство отвращения мучало меня и впоследствии на патологоанатомических вскрытиях трупов.

По анатомии вёл занятия и читал лекции пожилой человек Бушмакин вместе со своим помощником. Нам казался он очень большим ученым. Оба они приехали из Иркутска на время становления института. В то время в нашем институте работало много молодых и неопытных преподавателей, мы учились у них, они учились на нас. Неопытность с обеих сторон компенсировалась энтузиазмом, студенты учились с охотой, просиживали вечерами в кабинетах. В число преподавателей вошли и опытные врачи города Хабаровска, настоящие профессора своего дела без ученых степеней, интеллигентные, удивительно чуткие и благожелательные к больным. Сейчас такие медицинские работники встречаются исключительно редко. Помню энергичную с зоркими, пронизательными и одновременно добрыми голубыми глазами акушерку и гинеколога Скворцову, её почитал весь город; хирурга, большого мастера своего дела, а также невропатолога (жалею, что забыл их фамилии). Все они исчезли в проклятых 1937-38 годах, когда в широких масштабах в стране проводился чудовищный противоестественный отбор. Немало преподавателей направлялись

в Хабаровск из Москвы и Ленинграда, судя по всему, на посулы присвоения ученого звания, рассчитывая на легкую карьеру, с тем, чтобы при удобном случае уехать обратно.

Молодежь мне казалась в общем хорошей, простой, честной, очень работающей. Употребляю определение "в общем", так как было и немало хитрецов, большей частью укрепивших своё положение так называемой общественной работой, проще говоря типичным политизированным горлопанством. Среди студентов выделялись серьезностью и некоторой обособленностью от нас, молодых, фельдшеры, пожелавшие вооружиться знаниями и дипломом врача. Опытные в жизни, но малограмотные в медицине, они тоже с большим усердием овладевали науками. Все они жили по квартирам, тогда как мы, молодежь, - в общежитии. Я тоже жил первое время дома с родителями, местных среди студентов было удивительно мало.

КАФЕДРА ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ

В первые дни на уроке общей биологии я привлек внимание заведующего кафедрой тем, что назвал по латыни самого крупного жука Уссурийского края, калипогона, демонстрировавшегося нам на практическом занятии. Маслов Александр Васильевич, так его звали, тотчас же мною заинтересовался и, узнав, где я прежде работал, а также, что я умею рисовать, пригласил на должность лаборанта. Так я стал одновременно четыре года работать на кафедре и учиться, не получая стипендии. Рисовать приходилось таблицы для учебных занятий, а так как я, кроме прочего, хорошо помнил методику полного гельминтологического вскрытия животных, усвоенную в экспедиции К.И. Скрябина, то из кошек, кое-каких рыб и мышей набрал много гельминтов и из них научился готовить препараты для рассматривания под микроскопом, тем самым раздобыв, к великому удовольствию Маслова, учебные пособия для практических занятий со студентами. Маленького роста, с большой бородой, очень похожий в нашем представлении на Иисуса Христа, типично еврейской внешности, он любил порисоваться перед окружающими, выглядеть оригинально. Быстрый в движениях, энергичный, он всегда говорил громко и отчетливо. Студенты-медики, как всегда немного циничные в прозвищах, окрестили его словом сперматозоид. Он был прост, общителен и, в общем, благожелателен со студентами. Я намеревался по окончании первого курса уйти из медицинского института и перевестись на биологический факультет какого-либо университета с тем, чтобы получить всё же биологическое, а не медицинское образование. Но Маслов, которому я чистосердечно признался в своих планах, по-видимому, не без умысла, ради пользы для кафедры, уговорил меня остаться, мотивируя тем, что медицину легко совместить в будущем с биологией. Сам он изучал комаров, и казался мне настоящим увлекающимся ученым. Это впечатление, которое он производил на нас, студентов, Маслов старался всеми силами подтвердить, демонстрируя различные забавные замашки, якобы свойственные настоящему деятелю науки. Мы, студенты, в людях и тем более в ученых разбирались плохо. Как потом оказалось уже через много лет, когда меня судьба занесла в другие

края, кто-то дознался, что Маслов не имел высшего образования. Но его, разоблаченного, пожалели, учли его большой педагогический и лекторский стаж курса общей биологии, а для того, чтобы успокоить формалистов, заставили его сдать все экзамены за курс едва ли не всего педагогического института, в то время открывшегося в Хабаровске. Каким это было унижением для несчастного Маслова! В общем он был добрым, не требовательным, любил выпить, и четыре года нашей совместной работы с ним прошли хорошо и без каких-либо взаимных неудовольствий.

Заниматься на первом курсе пришлось недолго. Вскоре всех нас, мужчин и частично женщин, погнали на лесозаготовки. На них мы проработали два месяца, изрядно пропустив анатомию и кое-какие общеобразовательные предметы. В лесу я стал работать с азартом, манипулируя топором, к чему мне не привыкать, имея небольшой опыт, чем сразу же заслужил, к своему удивлению, всеобщее уважение, которого, как я понял впоследствии, у меня не хватало, по-видимому, из-за того, что относили меня к интеллигенции. Многие, возможно, мне завидовали: только что поступил в институт и стал работать лаборантом, к тому же откуда-то зная биологию.

Работали мы на Оборской ветке в глухой тайге километрах в ста от Хабаровска. Мне досталась должность сапёра. В мои обязанности входило найти среди глубокого снега сваленное и разделанное на бревно дерево, большей частью это были красавцы-кедры, подготовить к нему подъезд на лошади с саними, навалить вместе с другими такими же сапёрами и возчиками груз на сани, закрепить его и отправить до ближайшей дороги. Возчиками работали только девчата. Трудились с раннего утра до позднего вечера всё светлое время дня. Сушествовала четкая и суровая установка начальства: пусть лошадь погибнет в лесу, но бревно должно оказаться на станции железной дороги. Лес шел на экспорт, а выручка за него - на индустриализацию страны. Лошади, мобилизованные, а вернее сказать, отнятые у крестьян, от тяжелой и непрерывной работы дохли как мухи, и нас всегда кормили мясом. Разнообразием пищи не баловали, но по тому голодному времени мы были довольны. Рацион же был прост: на первое суп с кониной и гречневой кашей, на второе гречневая каша. Где-то вдали, не соприкасаясь с нами, работали так называемые "спецпереселенцы", как тогда называли раскулаченных крестьян и вывезенных со своей родины. Украинцы, привыкшие к степным просторам, оторванные от привычной обстановки, элементарной человечности, занятые непрерывным тяжелым трудом, выглядели измученными, с какой-то особенной тоской во взгляде.

Выходных дней мы не знали. Но как-то в лесу начался сильный ураган, он валил деревья, и нас на работу не пустили. Лошадей же напоили, и их пришлось прогнать верхами. Мне попала старая костлявая кобыла. Без седла и без привычки я отбил сидение и получил отпуск на три дня после унижительного осмотра у своих же студентов-фельдшеров, устроившихся работать на медицинских пунктах. На время болезни я получил задание - делать стенную газету. Жили мы в бревенчатом доме с нарами, идущими вдоль стен. В одной стороне спали мужчины, в другой - женщины. В крайнем ряду со стороны мужчин находился Николай Рыбаков, со стороны женщин - Тамара Андерсон.

Рыбаков работал в институте физруком и одновременно учился. В лесу он оказался слабосильным, быстро уставал, за что над ним кое-кто за глаза и зло посмеивался. Ночью в комнате всегда горела керосиновая лампа. Сижусь за изготовлением стенгазеты, царит тишина, все забылись тяжелым сном. Неожиданно приподнимается Тамара Андерсон и, нажимая плечом на стену, бормочет: "Давай, давай!" За нею тотчас же приподнимается сонный Николай Рыбаков и тоже, покрикивая, давит на стену. Покричали, потолкали стену домика и улеглись, забылись сном. Беднягам приснилась тяжелая дневная работа... Утром мне никто не поверил, в том числе и участники сцены, в то, что произошло ночью.

До сих пор я вспоминаю чудесный девственный лес, в котором мы работали. С утра до вечера он заполнялся криками лесозаготовщиков, грохотом падающих деревьев-красавцев. Всё живое из него сбежало, и на снегу я не видал следов диких животных, исчезли даже белки. После завершения лесозаготовок и вывозки бревен лес, невероятно захламленный ветвями, порубленной порослью молодых деревьев, мешавших вывозу древесины, с проложенными дорогами-временками выглядел жалким и истерзанным. Ничего не осталось от его бывшего величия и торжественной красоты. За два месяца лесозаготовок у меня затвердели мышцы. Но к концу нашей страды на меня напало что-то вроде мышечного переутомления, и я с большим трудом заставлял себя работать. Вся наша компания лесорубов внешне выглядела неважно: в изношенных ватных брюках и ватных же телогрейках, с лицами обветренными и огрубевшими от мороза, мы, наверное, мало отличались от спецпереселенцев, а также заключенных, работавших на той же Оборской ветке под конвоем. Но бодрое настроение нас не покидало, знали - скоро в город на учебу.

После лесозаготовительного аврала нас ожидал аврал учебный и прежде всего по анатомии человека. Среди нас нашлось немало, главным образом девчат, ускользнувших от лесных работ, отсидевшихся в институте.

На экзамене по анатомии не обходилось без курьезов. С одним из студентов, Лыткиным, кстати он был одним из главных "общественников", членом партии, отличавшимся в учении тупостью, наш экзаменатор долго мучался, пытаясь вытянуть из него хотя бы маловразумительный ответ. Наконец, в отчаянии он спросил, что за мышца "глютеус максимус" ("большая ягодичная мышца"). Уж эту мышцу студенты знали хорошо, часто упоминая её в шутках и самодеятельных анекдотах. Студент без раздумий выпалил: "Это мимическая мышца лица". Преподаватель буквально побелел от возмущения. По этому поводу мы долго и безудержно смеялись.

На Дальний Восток хлынуло немало тех, кто намеревался заработать деньги, и край постепенно превратился в проходной двор. Этому способствовало и то, что многих старожилов выселили при так называемой коллективизации и раскулачивании, выселили и жителей городов, имевших свои дома, хотя бы даже небольшие и не дававшие никакого дохода. Понятие собственности в то время уже приобрело криминальный характер. Дома отнимали и выселяли их владельцев ради того, чтобы в какой-то мере разрядить острый жилищный кризис, разразившийся из-за притока населения. Несколько раз выносилось решение отнять и наш дом, и отец каждый раз ходил в горсовет, выстаивал там

длинные очереди, доказывая, что дом не приносит дохода, квартирантов в нём нет, заработан честным трудом учителя. Тогда решение отменялось. Но через некоторое время, очевидно какой-то другой начальник вновь приказывал конфисковать наше строение в пользу государства.

Как только местное население разбавили пришлым, тотчас же упало прежде всего садоводство. Исчезли с базаров сливы, ранетки, груши, мигрировало постепенно и китайское население на родину.

ЭКСПЕДИЦИЯ ПО РЕКЕ ИМАН

В то время жизнь еще не пронизала всемогущая бюрократия, и я каждое лето, заранее сдавая экзамены за месяц до окончания учения, уезжал куда-либо в экспедицию и приезжал на месяц позже. В первые же летние каникулы после окончания первого курса я сговорился с краеведами ехать в экспедицию в тайгу разыскивать со стороны хребта Сихотэ-Алинь верховья реки Иман, в то время не обозначенные на карте. Местом отправления экспедиции был город Иман. Участвовали в этом мероприятии его организатор - экономист Константинов, сельский учитель Москалёв, местный житель и знаток тайги Третьяков и зачем-то прикомандированный к нам военный чин, вооруженный наганом.

Мы, члены экспедиции, выпустили в Имане небольшую газету, провели вечер с рассказами о предстоящем путешествии и его задачах. Помогли и кое-какие учреждения. Сделали по таежному нанайские ичиги, поехали во Владивосток и там застряли на две недели. Почему-то нас не выпускали в путь. Потом выяснилось: в район нашего предполагаемого маршрута якобы проникли два офицера-белогвардейца из Харбина и подговорили староверов, поселившихся в тайге, совершить что-то подобное восстанию. Их затея, если она была действительно такой, казалась явно сумасбродной. Возможно, эта официальная версия неверна, и проникновение в таежную глушь двух офицеров Белой гвардии имело какие-то другие цели. Вспоминается история с отрядом белогвардейца Мохова. Не пытались ли они разыскать клад, оставленный при отступлении? Тогда, эмигрируя, белогвардейцы верили, что смута гражданской войны пройдет, и появится возможность возвращения на Родину. Но этим розовым мечтам русской эмиграции, как известно, не суждено было сбыться. Белогвардейцы вместе с примкнувшими к ним староверами спустились по Иману, но вскоре были разбиты одним хорошо вооруженным отрядом красноармейцев. Как только кончилась эта история, нас выпустили из Владивостока.

Тогда, впервые в своей жизни, я попал на море. Оно поразило меня незнакомой корабельной обстановкой, необычными водными просторами, громадными волнами, могучей стихией. От качки немало пассажиров страдало морской болезнью. Я с интересом рассматривал корабль и однажды услышал нежную мелодию гармошки, исполнявшей столь любимую среди молодежи мелодию песни на слова Сергея Есенина, обращенные к своей матери. Музыка меня всегда приводила в какой-то особенный душевный трепет. Преодолевая неловкость, я спустился вниз по железной лесенке, куда был запрещен вход пассажирам, и в котельной увидел чумазого кочегара. Отдыхая, он хорошо и

нежно выводил мотив песни на своём, как оказалось, несложном инструменте - губной гармошке. Жалею, что не познакомился с ним, не поговорил, не пообщался. Дурацкая застенчивость была всегда врагом моей жизни как в малых, так и в больших делах.

Мы проплыли по Японскому морю до бухты Тетюхе ¹⁰, высадились там, переночевали пару дней в длинном бараке для рабочих горняков поселка, изобиловавшем массой клопов, нашли двух проводников - местных охотников братьев Шубиных. Старший из них хорошо помнил В.К. Арсеньева и, рассказывая о нём, сообщил, что знаменитый путешественник не зря бродил по тайге со своим проводником Дерсу-Узала: они искали золото. Вот так простые люди по-своему объясняли энтузиазм исследователя-путешественника. Этот примитивный взгляд на Арсеньева стоил жизни его замечательному спутнику-следопыту. Когда Дерсу Узала, пожив в городе у Арсеньева, соскучившись по тайге, ушел от него, то был убит бандитами, решившими, что охотник-старик, конечно, получил от своего капитана кучу золота.

В тумане и морозящем дожде прошли перевал Сихотэ-Алинь, добрались до Красной речки. По мнению проводников Шубиных, она впадала в реку Иман. На весь путь потратили три дня. С собой несли кроме палаток и продуктов питания еще продольную пилу, оружие, гвозди. Выбрали место бивака на речке. Здесь нас покинули проводники, мы остались одни в обширном дремучем лесу. Высмотрели прекрасный могучий кедр, четыре дня пилили его на доски и буквально за один день сколотили две лодки-плоскодонки, каждую из трех добротных досок.

Пока распиливали бревно, мне поручили провести разведку территории по речке до того места, где по сведениям проводников находилась избушка охотников-промысловиков, и где могли укрыться зачинщики "восстания" офицеры-белогвардейцы. Я с удовольствием взялся за поручение, тем более что делать мне было нечего, - работать продольной пилой могли только Москалёв и Третьяков. За мною была закреплена винтовка Бердана. Шутя, мы называли это в то время широко распространенное у охотников однозарядное оружие "жердью" за непомерную его длину. Когда-то бердана, первое нарезное оружие в России ¹¹, служила на вооружении русской армии, потом её сменила трехлинейка-пятизарядка. Стреляла бердана свинцовой пулей крупного калибра, била хорошо, обладала большой убойной силой, и охотники её любили.

Шел осторожно по едва заметной тропинке, поглядывая по сторонам, ощущая свой путь более ногами, одетыми в мягкую обувь - ичиги. Тайгу я знал неплохо. Через пару часов пути неожиданно передо мною среди густого леса, в просвете среди деревьев, показалась полянка, и на ней - избушка. Постоял на краю полянки, прислушался. Ничто не говорило о том, что в ней сейчас кто-либо живет. Зашел в избушку, она оказалась пустой. На большом столе к множеству вырезанных на нём надписей поставил и свой автограф. Возвратился к биваку под вечер.

За несколько дней нашего путешествия прошли обильные дожди, и на реке наступило сильное половодие, так что наши лодки плыли по очень большой и стремительной воде. К избушке подплыли с величайшей осторожностью со взведенными ружьями, несмотря на мои уверения, что она пуста. Хорошо, что я

вырезал на столе свой автограф. Только увидев его, мои компаньоны убедились в добросовестно проведенной мною разведке.

Наше плавание оказалось опасным, и мы его с честью выдерживали только благодаря добротным, из толстых досок, лодкам. Вода то ударяла в утес, и тогда, чтобы лодки не разбило о камни, приходилось грести изо всех сил, то в громадные деревья, ставшие поперек течения. Река часто исчезала, перегороженная упавшими и обточенными водою стволами деревьев. Их мы называли "заломами". Через них приходилось перетаскивать имущество и волоком - лодки. Вокруг же нас простиралась дремучая тайга первозданной красоты без каких-либо следов человека. Везде с берегов реку теснили могучие ильмы¹², ясени, ивняки с длинными тонкими и стройными стволами, за ними на сопках виднелся хвойный лес то из кедра, пихты и ели, то из лиственницы.

Наконец, на нашем пути повстречалась небольшая деревенька староверов под странным названием Лаулю. Навстречу нам вышло несколько мужчин - коренастых, здоровых, настоящих таежников. К себе в дом нас не пригласили. Женщины из домов не показались. По единственной улочке прошел паренек лет семнадцати в одной длинной рубашке без брюк. Он вёл лошадь к реке на водопой. Это было еще "дитя" по мнению взрослых. Жили староверы по издревле сложившемуся укладу, не пили и не курили, по своему глубоко верили в Бога и отличались отменным здоровьем. Все тяготы переселений, освоения таежной глуши, а также жизни вне цивилизации они переносили, воодушевленные своей верой. Глядя на них, думалось, что человек, под влиянием идей, полагая их непреложными и высокими, способен переносить тягчайшие испытания и совершать героические подвиги.

Немного поговорили со староверами и поехали дальше. В одном месте с острова послышались отчаянные крики о помощи. Остановились, кое-как преодолевая стремительное течение, пристали к острову. На нём, застигнутый половодьем, застрял охотник-промысловик. Его лодку снесло. Забрали его с собой.

За всё время нашего пути от бухты Тетюхе до города Иман мы не видели ни одного зверя, хотя неплохой охотник Третьяков однажды высмотрел и убил самого маленького оленя, изящную кабаргу. Зато птиц в тайге жило великое множество и самых разных, а пение их оживляло мрачную темень густого леса. Нас всё время преследовало величайшее множество комаров, мошек и мокрецов. Отбивались от них дымокурами. Возле нашего первого бивака на песчаной косе сидело множество, без преувеличения - целая стая, красивых и цветастых бабочек. Впоследствии никогда мне не приходилось видеть их такого разнообразия и количества. Они совсем на нас не обращали внимания, очевидно принимая за крупных зверей, но стоило мне несколько раз попытаться поймать какую-либо из бабочек, как вся стая сразу стала очень осторожной.

Эта неожиданная перемена в поведении меня поразила, и, очевидно, объяснялась она стадным чувством: тревога нескольких бабочек сразу же воспринималась всеми остальными, и пестрое общество из разных видов, как по команде, разлеталось передо мною. Пристрастие к песчаной косе объяснялось просто: здесь вода, подсыхая, оставляла на песке минеральные соли, столь необходимые для этих насекомых. Впоследствии я не раз убеждался в прекрасно

отработанном стадном чувстве, оно сохранялось даже у человека. Я даже советовал использовать колониальных животных для прогноза приближающегося землетрясения. Но для того, чтобы привлечь внимание к той рекомендации потребовалось немало лет.

ЭКСПЕДИЦИЯ ПО РЕКЕ БИКИН

Летом, со второго курса на третий учения в институте, я отправился в экспедицию уже со своим заведующим кафедрой и двумя студентами. А.В. Маслов, наслушавшись моих рассказов о природе Уссурийского края во время путешествия по реке Иман, решил организовать поездку по другой реке - Бикин. Он намеревался собрать разных комаров и попутешествовать. Река Бикин расположена севернее реки Иман и также течет с хребта Сихотэ-Алинь. Со станции Бикин мы проехали до селения Красный Перевал, остановились там в большом и пустующем здании бездействующего клуба, оставили там студентов, я же с Масловым поехал вверх по реке на попутных лодках, составивших целую флотилию. Лодки-долбенки делались из могучих стволов ильма - дерева, растущего по берегам рек. Называли их батами. На лодках ехали красноармейцы с какой-то целью, скрывавшейся от нас, гражданских лиц. Вместе с нами в качестве проводников ехали удегейцы. Командир этого речного похода жаловался: стоило большого труда нанять удегейцев. Деньги их не прельщали. Нужен был опиум, и его пришлось раздобывать. К опиуму – этому страшному зелью - доверчивых и простодушных удегейцев приучили предприимчивые китайцы, торговцы пушниной и сборщики целебного корня жень-шеня.

На меня удегейцы, к которым принадлежал и легендарный проводник В.К. Арсеньева Дерсу-Узала, производили отрадное впечатление своим почти детским простодушием, непосредственностью, миролюбием и добротой. Это было тогда... Они легко поддавались чарам алкоголя. Запечатлелась картинка: по стойбищу идут, едва передвигая ноги, два удегейца и по-русски распевают частушку, неизвестно откуда заимствованную:

"Топор, рукавица, зина муза не боица. Рукавица не топор, стук муза об забор... "

Потом всё же выяснилось: солдаты ехали по Бикину для ликвидации поселений староверов, в которых якобы в прошлом году нашли приют офицеры-белогвардейцы. Из-за них тогда и задержали нашу прошлогоднюю экспедицию. Потом дней черед пятнадцать-двадцать я застал печальную картину: вниз по реке спускалась вереница батов. На них сидели одни дети и женщины. Их куда-то переселяли. Куда делось мужское население - не знаю. Староверы прятались от мира в таежные дебри давным-давно, отвыкли от цивилизации. Раз в год слали своих представителей с пушниной, обменивая её на необходимые товары, ткани, соль, посуду, охотничьи припасы. Теперь их замкнутая и отрешенная от цивилизации жизнь закончилась. Мне кажется история о необходимости снабжения проводников опиумом была в какой-то мере надуманной. Видимо участие в экспедиции им не нравилось, и когда я спрашивал о цели поездки, удегейцы отмалчивались. Со староверами они жили тихо и мирно.

Против сильного течения лодки вверх передвигаются только при помощи длинных тонких шестов из ив. Опускать их в воду полагалось так, чтобы они свободно скользили в руках вниз. Не зная этого правила, кое-кто из красноармейцев, собираясь опереться на шест, падал в воду, когда неожиданно дно оказывалось глубоким. Неудачников осмеивали добродушно и весело. Но проводники удегейцы тактично молчали. Работа на шестах очень тяжелая, и я ей не радовался. Маслов же устроился хорошо, его везли. Наверное, теперь по этим горным рекам удехе не ходят на шестах, используя моторы. Наконец, через несколько дней пути мы остановились в каком-то таежном удегейском селении. Красноармейцы поплыли дальше.

Вскоре Маслову надоела наша жизнь таежников, и он уехал, оставив меня одного в этом стойбище. Бродя по тайге, я неосторожно ухватился за колючую аралию и занозил палец. Вскоре он стал сильно нарываться. Надо было ехать в Бикин к врачу. В то время я уже наловчился работать шестом не только на бате, но и на маленькой долбленной лодочке-амарочке, и не просто плавать, а стоя работать шестом. Амарочка настолько мала, что впервые сев на неё, тотчас же опрокидывешься в воду. Удегейцы мне дали кривую амарочку, спускаться на ней несложно одному. По пути встретились с десятком батов, плывших по другой стороне реки. Меня окрикнули, подплыли. Оказалось, это геологическая экспедиция. Стали меня просить подвезти до селения Красный Перевал одного члена экспедиции, заболевшую женщину. Предложение геологов выглядело явно рискованно. Я спросил проводников удегейцев, можно ли на маленькой и к тому же кривой амарочке везти больную? Те долго и с сомнением поглядывали на меня, качали головами, переговариваясь коротко друг с другом на своем языке. Всё же геологи заставили меня согласиться. По хорошему, меня всегда легко уговорить. Борту загруженной амарочки теперь выглядывали над поверхностью воды едва ли на три сантиметра.

К счастью, спуск по Бикину закончился благополучно за один день, мой пассажир строго следовал поставленному мною условию - не шевелиться и не раскачивать лодчонку, в каком бы она не оказалась положении. По пути миновали много опасных мест, то сильная струя воды била в утес, то лодчонка застревала на перекате и, быстро выскочив из неё, следовало перетащить утлое суденышко на глубокую воду волоком, опасаясь, чтобы его не поставило поперек течения и не опрокинуло. То следовало перебираться с одного берега на другой, преодолевая сильные струи воды.

В одном месте, как раз вблизи бурного течения и водоворота, у высокого скалистого берега среди леса стояла крошечная кумирня. Её поставили китайцы - охотники и промысловики за жень-шенем. Никем не охраняемая, она, как мне потом рассказывали, стояла многие годы в целости и сохранности.

Только в сумерках мы подъехали к Красному Перевалу, но ночь моя после поездки прошла без сна в мучениях: палец сильно распух, развелся настоящий панариций. На следующий день нарыв прорвало, вышло много гноя, и наступило облегчение. Больную же отправили с попутной подводой в Бикин.

Потом я съездил с опытным охотником на несколько дней в тайгу на бате. Рано утром охотник, услышав рёв изюбря, умчался из шалаша, и вскоре мы занялись свеживанием чудесного рогача-изюбря, казавшегося мне таким

несчастливым. Еще бы, кричал на весь лес, искал соперника ради того, чтобы померяться с ним силой в честной борьбе и, услышав обманный крик охотника, погиб.

Потом, тихо скользя по маленькой таежной речке, впадавшей в Бикин, услышали треск ломаемых ветвей. Мой охотник сел сзади, правя батом, и вскоре я увидел медведя. Он лакомился желудями, сидя на дереве. Выстрел моей берданы оборвал его жизнь... И на изюбря, и на медведя у меня была лицензия, с них я собрал клещей, выполняя задание экспедиции.

Во время этого путешествия у нас было очень мало муки, в то время, как и хлеб, её выдавали по карточкам. Мы пекли небольшую лепешку через день. Может быть поэтому мы оба, имея в достатке мясо, с удовольствием пили кружками топленый медвежий жир. И, кроме того, ради разнообразия я стрелял рябчиков, белок, били острогой щук. Самыми вкусными оказались белки, их мясо с привкусом кедровых орехов, к этому времени они уже созрели, казалось особенно вкусным и очень нежным.

Все свои охотничьи подвиги я считал непременно для таежника-путешественника. К тому же, со всего добытого я собирал и спиртовал наружных паразитов. Но как изменилось моё отношение с возрастом! Ныне, когда птицам и зверям почти негде жить, а число их видов катастрофически уменьшается, я стал активным противником охоты и считаю варварством лишение жизни наших младших братьев охотниками-любителями.

Как-то, когда я плыл на лодке по Бикину, с противоположного берега реки, с одной из лодок, на которых плыли удехейцы, раздались крики. Оказывается мне собирались передать телеграмму от отца. В ней он просил срочно приехать домой: семья уезжала из Хабаровска. Пришлось прежде времени расстаться с экспедицией. Мать, отец и сестра решили переехать в Ташкент, в то время туда переселилась старшая сестра Елена с мужем. Предстоящее расставание с родителями меня расстроило. Отцу надоели бесконечные попытки отнять дом. Быстро его продали какому-то учреждению, собрались. Задержались только из-за меня. Поехал вместе со всеми и брат Николай. Я попросил разрешения остаться, не желая покидать Дальний Восток, природу которого очень любил и неплохо знал. Отговаривать меня не стали. Отец никогда не препятствовал моим увлечениям. Тогда, на вокзале, я впервые увидел на лице отца слезы. Ему было тяжело прощаться с Хабаровском. И было отчего: прожить столько лет на Дальнем Востоке, обрести в нём после Украины вторую родину и покинуть её, уезжая в чужую и незнакомую страну. Жестокое время ломало и уродовало судьбы великого множества жителей нашей большой и многострадальной страны.

Перед отъездом, когда я находился в экспедиции, отец продал вместе с лишним домашним имуществом и свою небольшую библиотеку, и я лишился нескольких с детства любимых книг. Про одну из них, "Ум животных", я уже упоминал. Найти её, не зная фамилии автора, уже не смог. Отец расстроился, когда узнал, что эта книга мне дорога. Недавно я случайно узнал, что это книга доктора Целля, опубликованная издательством "Вестник знания" в 1911 году¹³.

В Хабаровске оставался еще брат Вячеслав. Он работал в штабе Дальневосточной Краснознаменной армии по какой-то культурно-

просветительской деятельности и жил в маленькой двукомнатной квартире. С ним я и поселился, но прожил недолго, переехав в общежитие: брат женился.

В Ташкенте родители купили небольшой, из сырцового кирпича, домик с садом. Отец вскоре заскучал по Дальнему Востоку и приехал в Хабаровск, жил у брата, зарабатывал уроками. Часто приходил ко мне в общежитие, сидел со мною. Так наша семья оказалась разъединенной.

На каникулы с третьего на четвертый курс обучения в институте мой бывший начальник из института защиты растений пригласил меня на лето поработать в селе Раковка близ города Уссурийска. Обида на подлость, которую он предпринял, требуя послать в медицинский институт сообщение о моём "дезертирстве" с трудового фронта, остыла, - я никогда не отличался злопамятностью. Здесь обстановка оказалось той же, что и прежде. Я остался работать вместе с лаборантом, изучая грызунов, а мой начальник куда-то, по своему обыкновению, укатил на всё лето. Мне не пришлось более делать академические тушки крыс. Я заинтересовался восточной полевкой *Микротус*, одним из распространенных грызунов Приморья. Составил план одной большой колонии грызунов и, притаптывая норки, вскоре убедился, что за лето грызуны сильно уменьшились в численности из-за какой-то эпизоотии, так как откапывавшихся норок становилось всё меньше и меньше. Определял плодовитость по числу эмбрионов в теле самок и соотношение полов. Кроме того, не упускал возможности понаблюдать за разными птицами, зверьками. Работа в институте защиты растений приносила мне пользу, я стал разбираться в зоологии позвоночных, пополнял своё самообразование. Такой была моя последняя связь с этим учреждением.

В Могочинском районе Амурской области вспыхнула большая эпидемия малярии. Краевое управление здравоохранения предложило почему-то мне, тогда студенту последнего курса медицинского института, в начале лета 1936 года отправиться на борьбу с этой болезнью. Я подобрал себе двух помощников, получил две большие банки хинина, каждая около десяти килограмм весом, получил на всех кожаные костюмы, командировочные деньги. Больных действительно оказалось очень много. В районной больнице с утра до вечера я вел их прием, регистрировал, определял тяжесть заболевания, узнавал насколько увеличена селезенка, выдавал хинин. Дел хватало с избытком, к тому же приходилось еще выезжать в различные поселения. При помощи районной газеты опубликовал листовку о том, как уберечься от этого заболевания и как лечиться. Два молодых сотрудника газеты с недоверием посмотрели на меня, им не верилось, что листовка, размером с большой плакат, написана мною: слишком я молодо выглядел как писатель.

Заведующий больницей, человек покладистый, но алкоголик, всё время меня угощал спиртом, но не обижался на мой отказ. Потихоньку он делал в больнице в то время запрещенные аборты.

Здесь всюду преобладал приезжий люд, работали и заключенные на так называемом БАМе (Байкало-Амурской магистрали). Главу этого строительства я однажды лицезрел в окружении большой свиты специалистов. Он был хозяин всего района, всей земли и вершитель людских судеб.

Когда возвратился из поездки, меня заставили сдать кожаный костюм, а в правдивости отчета бесцеремонно засомневались: слишком большой объем работы проделал я со своими помощниками.

СТУДЕНЧЕСКИЕ БУДНИ

Не могу сказать, что я прожил счастливо студенческие годы. Голодали, курили, чтобы не хотелось есть. За кусочком хлеба с намазанной на него тончайшей пленкой сливочного масла выстраивалась в буфет длинная очередь. Но как всегда оптимистично настроенная молодежь жила надеждами. Но угнетала не материальная сторона жизни. Всё время учения в институте испытывали на себе слежку, непрерывную, явную и нескрываемую. Слежку и проверку на так называемую благонадежность. Она создавала особенный аморальный фон нашего бытия. Искали крамолу в происхождении родителей, узнавали всеми путями о них, их прошлом, социальном и имущественном положении. Думаю, за всё время существования России никогда так не обращали внимания на происхождение детей, как в те тяжкие годы. Периодически кое-кого исключали из института.

Во время учения в институте в 1932-1936 годы никто из студентов не был арестован. Главная эпидемия арестов началась позднее в 1937-38 годах, когда я уже закончил институт. Пострадал только один студент, настоящий, а не поддельный рабочий, по профессии печник. На первом курсе он увлекся Гегелем, преподаватель же философии и политических дисциплин, типичный дебил, не умевший правильно связать два слова, не влюбил почитателя Гегеля, к тому же досаждавшего своими вопросами и рассуждениями, за что тот и поплатился. Как водилось, пришли за ним ночью в общежитие, нагнав на всех немало страху.

На последнем курсе учения в институте А.В. Маслов неожиданно предложил мне уволиться с должности лаборанта кафедры. Причину не сказал, намекнул, мол так приказано свыше. Этот акт произвел на меня удручающее впечатление своей несправедливостью, тем более, что еще будучи студентом, я не раз проводил даже практические занятия со студентами, подменяя отсутствие по какой-либо причине преподавателей. Кроме того, я увлекся систематикой блох, освоил приготовление препаратов, стал их определять и, ознакомившись с литературой, описал новый вид блохи с полуострова Сидими¹⁴ под названием Стеноподиа сидими, из сборов своего друга А.Шмидта. В то время подобного успеха не достигал ни один студент. Да еще наловчился чинить иммерсионные системы микроскопов. Решил, что на меня послан кем-то донос, и мне не избежать ареста. В то время мы уже жили в постоянном страхе. На моё место зачислили студента-одноклассника, почти друга, А.Забавникова. Уступал он мне по знанию предмета явно, не знал ни биологии, не умел ни рисовать, ни готовить препараты. Предложение занять моё место нисколько его не смутило, понятие об элементарной порядочности отсутствовало. Так и осталась для меня тайной причина увольнения с кафедры, на которой я проработал четыре года, не получая полагавшейся всем стипендии, чтобы не вызвать зависть.

Студенты в бытовом отношении жили скверно. Не говоря уже о полуголодном существовании, мы не имели и элементарных жилищных условий. Большое четырехэтажное здание мединститута, в котором располагались и общежития, не имело канализации, и каждый вечер дежурный по комнате выносил ведро с помоями во двор, в сколоченную из досок уборную. Клиниками служили военный госпиталь и городская больница. Но вся эта неустроенность - ничто в сравнении с удушливой атмосферой взаимной подозрительности, недоверия друг к другу, скрытности и постепенного воспитания в наших душах равнодушия к добру и злу. Над всем давлело царство замаскированной и политизированной лжи под маркой высоких идей коммунизма, свидетельствуя о больном обществе. Вера в торжество коммунизма, его светлое будущее, которую нам внушали, от преувеличения, также как и всякая истина, превращалась в свою противоположность – ложь. Человеческое общество стало жить в попрании элементарных прав человека.

Зловещей фигурой выглядел заместитель директора института Марк Моисеевич Виленский. Крупный, толстоватый, в пенсне, удивительно сильно напоминал собою впоследствии знаменитого злодея Берию, хотя мы тогда еще не знали о существовании этой страшной личности. Среди студентов у него существовали доносчики, мы почти их всех знали, и не дай бог было ввязаться с ними в какую-либо перепалку. Хорошо запомнил одну такую личность со странной фамилией Шкет. Как-то я с нею повздорил, после чего осталась в памяти её злая и самодовольная ухмылка. Всё это сильно омрачало студенческую жизнь, казалось бы должную быть безмятежной и счастливой, и накладывало отпечаток на наши характеры и взаимные отношения.

Во время обучения медицинская литература меня не интересовала, я знал, что медиком не буду, и довольствовался лишь тем, что требовалось для сдачи экзаменов и зачетов. Но другие книги читал с удовольствием. Заглянув в учебное пособие по диалектическому материализму, заинтересовался и этой наукой. Но тогда никак не мог уразуметь почему считалось, что бытие определяет сознание. Мне казалось, что и сознание определяет бытие, в обоих этих взаимоисключающих категориях проглядывает единство противоположностей. Тогда же ради интереса взглянул и на Гегеля, и самой интересной мыслью этого философа мне показалось утверждение, что и материализм, и идеализм есть просто разные пути познания истины. Впоследствии эта же мысль родила уверенность, что и в биологии так называемый механицизм и крамольный витализм - тоже разные пути познания истины. Думая так по своему незрелому разумению, я полагал, что многие биологические проблемы и доминировавшая тогда и набившая нам всем оскомину государственная философия так называемой генеральной линии партии в борьбе с правыми и левыми уклонами тоже несурезица и антидиалектична, так как представляет, в какой-то мере, разные пути познания истины. Но говорить об этом, боже упаси, разве можно! Тогда же сам с собою, обдумывая различные особенности диалектического материализма, развивал свои различные теории философии природы. Они конечно шли вразрез с всеподавляющей фальсификацией нашей жизни. Быть может и в душе я не стал противником религии, инстинктивно сопротивляясь тому, что преподносилось нам, несмотря на оголтелую антирелигиозную пропаганду, но представляя Бога

как что-то высшее, наукой еще не установленное и в какой-то степени непознаваемое при современном уровне наших знаний. И учение И.В. Павлова об условных рефлексах, также как и учение французского энтомолога Ж.А. Фабра об инстинктах, перед которым преклонялся, считал тоже односторонними и на примере Фабра видел не только пользу его воззрений, но и вред. Мне казалось, что моё собственное и независимое мнение помогало в познании мира насекомых, в моей профессии натуралиста. Во время учения в мединституте я, увлекаясь биологией, читал книги по зоологии, зоогеографии, энтомологии, дарвинизму и, занимаясь сам по себе без особенного плана и принуждения, пополнял своё самообразование. Всё это помогло мне в последующей жизни, вот только ботаника как-то осталась в стороне, о чем жалею до сих пор.

На старших курсах обучения стал посещать художественный музей. Он находился близко от медицинского института. Там трудились замечательные люди: внимательный, спокойный и удивительно доброжелательный художник Гусак, заботливый и приветливый директор Покровский. В музее организовали кружок начинающих художников, его я и посещал вместе со студенткой Галкиной, способной рисовать карикатур. Руководил кружком Гусак. Еще там служил молодой человек Чистяков, по иронии судьбы лишенный элементарных способностей к изобразительному искусству, и, вскоре ставшая его женой, маленькая женщина-художница, тоже бесталанная. Чистякова почему-то называли Мистером Твистером, по-видимому, за щегольство. Бывает же так, работает человек по какой-либо профессии к ней совершенно неспособный, но осознать это не в силах, не видит самого себя, а все свои неудачи на служебном поприще сваливает на различные независимые от себя обстоятельства. Иногда подобные люди объясняют свои неудачи недостатком образования и, закончив один институт, вскоре поступают на другой, что разумеется ничего не дает. Такою была и эта супружеская пара.

Устраивали выставки самодеятельных художников и одну из них организовали в фойе кинотеатра на центральной улице города. Эту выставку посетило множество зрителей. Я всегда о ней вспоминаю, когда бываю на выставках изобразительного искусства в наше время в Алма-Ате, почти при полном отсутствии посетителей. Из работ нашей Хабаровской выставки особенно нравились пейзажи капитана дальнего плавания Штукельберга, красочные, радостные, реалистичные.

ТВОРЧЕСТВО

Еще студентом на кафедре общей биологии я стал изучать систематику блох, вскоре описав новый вид с полуострова Сидими, собранный с какого-то зверя моим другом Шмидтом. Под микроскопом эти крайне несимпатичные насекомые выглядят очень красивыми, разнообразными и необыкновенными. Обывателям подобное "занятие" может показаться смешным. Блохи интересовали ученых как переносчики страшной болезни чумы. В Советском Союзе ими занималось несколько ученых, ими увлекался даже крупнейший американский миллиардер Ротшильд, собравший большую коллекцию.

Когда мне предложили уволиться с кафедры, в Хабаровске был организован противочумный институт, и откуда-то из центра приехала вместе с мужем-хозяйственником его директриса Тихомирова. Она предложила мне место младшего научного сотрудника, на что я охотно согласился. То, что я еще не закончил мединститут и большую часть времени был занят учением, в то время не имело большого значения. Закончив институт, я получил назначение заведующим противочумным пунктом в городе Благовещенске. Здесь я, не имея опыта, к сожалению, был вынужден работать вместе с жуликом и алкоголиком хозяйственником, мужем в общем миролюбивой и симпатичной врача противочумного пункта. В моём распоряжении находился грузовик полуторка ГАЗ-АА. Здесь же, как только заработал первые деньги, купил велосипед. В то время велосипед ценился едва ли не так же, как ныне автомобиль Жигули, и на его владельца смотрели с некоторою долей зависти.

Прошел год. Я путешествовал по Амурской области то на машине, то на велосипеде, иногда один, иногда с помощником лаборантом - якутом Даргеевым, изучал грызунов, в том числе сусликов, уже знакомых мне по институту защиты растений, к медицине меня несколько не тянуло, и тогда я ничем не напоминал собою врача. В научном плане, при отсутствии доброго совета и руководителя, с большим рвением брался за всё и в общем, детально - ни за что. Как-то мне попал в капкан незнакомый грызун с очень странным строением зубов. Рисунок его черепа я послал в Ленинград в Зоологический институт Академии наук СССР известным ученым маммологам Б.С. Виноградову и А.И. Аргиропуло. Там не могли определить мою находку и попросили её прислать. Оказалось, что это отлично мне знакомый хомячок Крицетулюс фурункулюс барабензис, но необыкновенно старый, поседевший и со стертými зубами. Случай казался необычным, так как в общем грызуны живут недолго. Этот же оказался каким-то особенно мудрым или счастливым. Наверное, шкурка и череп хомячка-старичка до сих пор хранятся в коллекциях зоологического института, хотя Аргиропуло и Виноградов давно ушли из жизни, первый совсем молодым во время блокады Ленинграда от голода.

Прошел год, и я расстался с противочумным институтом, меня неожиданно пригласили обратно на кафедру общей биологии медицинского института. Маслов меня не забыл и лучшего кандидата на эту должность не нашел.

ГОДЫ ВЕЛИКОГО ТЕРРОРА

Возвратился я в институт в особенно тревожный и страшный 1938 год. Очень часто, утром, появившись на работе, мы узнавали об арестах тех или иных сотрудников института как врагов народа и, поражаясь этой жуткой формулировке, представляли себя легковерными и близорукими дурачками, не замечавшими столь необычного возле себя окружения. Но, как известно, нельзя обманывать бесконечно. Вскоре засомневались, потом убедились в развертывании настоящего террора. Жизнь человеческая не стала стоить ломаного гроша. Проявилась закономерность: исчезали люди большей частью

наиболее способные, удар наносился по интеллигенции. В терроре прежде всего виделся страшнейший абсурд и бессмысленное уничтожение лучших представителей общества. Те, кто организовал и проводил охоту на "врагов народа", явились самыми страшными врагами страны.

В газетах того времени часто сообщалось о разносных собраниях в различных учреждениях, после которых лица, подвергавшиеся критике, как правило, исчезали в недрах "органов", как тогда называли НКВД. От газетных публикаций создавалось впечатление умышленно разжигавшейся между людьми вражды, взаимной ненависти, а также звериной борьбы за жизнь, за спасение своей шкуры посредством клеветнических наветов. Над обществом происходил самый настоящий, организованный сверху, выражаясь языком биолога-эволюциониста, противоестественный отбор, в обстановке отчаянной борьбы за существование. Как выяснилось через многие годы, аресты велись планомерно и организовано по заранее составленному плану, выражавшемуся в установленной численности людей, предназначенных на уничтожение. Такого зверства не знала история всего человечества!

Мистер Твистер и его супруга из художественного музея написали в газету "Тихоокеанская звезда" нелепую клевету на директора музея Покровского. На следующий день после публикации я встретил его взъерошенного и мчавшегося по улице, возбужденно и нервно жестикулируя. Сбивчиво он стал мне говорить о том, какая подлость эта публикация в газете, о том, что не может так продолжаться дальше травля честных людей, ибо мир погибнет от клеветников и карьеристов. Но на следующий день его арестовали, оставив жену и двоих детей без средств существования. За что арестовали? Какое зло мог совершить человек, заведующий маленьким художественным музеем? На его месте моментально воцарилась маленькая женщина, чем-то напоминавшая мне пустынного кулика-пигалицу. Вместе со своим мужем Мистером Твистером она победила в борьбе за существование, возвысилась, стала директором музея, не имея совершенно никаких способностей ни к административной работе, ни к художественному ремеслу. Террор способствовал процветанию самого подлого, коварному проникновению к власти людей, ничтожных по своим душевным и деловым качествам. И самое худшее, что всё это прочно проникло в систему жизни на долгие годы и толкало страну постепенно и неотвратно в бездну разрухи.

Прихожу я как-то домой к Маслову и вижу опустевшую его комнату и вещи, упакованные в чемоданы и ящики. "Ухожу в отпуск!" - сообщил мне Маслов. По наивности я поверил, Маслов куда-то исчез. Потом оказалось, переехал в Кызыл-Орду. В то время многие вот так спасались, чтобы сохранить свою жизнь. Потом через много лет он возвратился обратно.

После бегства Маслова меня зачислили временно заведующим кафедрой. И тогда, неопытному юнцу, мне пришлось читать лекции всему многочисленному первому курсу студентов. Лекции мне давались с трудом, я не умел их читать, а всегда говорил, пользуясь краткими тезисами. Мешала застенчивость перед большой аудиторией (на первом курсе было сто человек). Но для моего самообразования чтение лекций имело большое значение, так как, прежде чем донести до аудитории материал, приходилось его отлично усваивать

самому. Вспоминается где-то прочтенное признание одного из лекторов: "Не знаю, принесли ли пользу мои лекции студентам, что касается меня, то они заставили меня узнать очень многое". Помню, отвечать на вопросы, посылавшиеся мне слушателями в письменной форме, помогала находчивость и поэтому, быть может, к концу лекторского курса у меня набирался ворох записок.

Исполняя обязанности заведующего кафедрой, мне приходилось иметь дело с директором института. Им стал крайне наглый молодой человек Губинский, совершеннейшее ничто как ученый и как преподаватель, получивший ученую степень доктора наук и звание профессора за переезд на Дальний Восток. Но он вскоре оскандалился за какие-то вовсе не политические промахи, был смещен и перекочевал во Фрунзе. Его место занял другой, потом один за другим три директора были смещены и посажены. Фамилия одного из них, моложавого, очень симпатичного, приветливого, была Карпов. Чехарда с директорами закончилась, когда на эту должность крепко сел уже упоминавшийся бериеподобный человек с двойным взглядом Марк Моисеевич Виленский.

Всем своим поведением этот человек показывал раболепную преданность совершавшимся репрессиям. Он активно боролся за существование и побеждал как герой противоестественного отбора. После ареста кого-либо из преподавателей, он тотчас же объявлял в институте общее собрание, на нём общим голосованием все отрекались от арестованного как от очередного "врага народа". На этих собраниях он, как-то по особенному взвизгивая и рыкая, изрекал любимую фразу: "Вы что думаете, мы не бываем на Волочаевской улице?" Там находилось самое страшное учреждение, тогда называвшееся НКВД. Здание этого учреждения стали надстраивать этажем, и он неожиданно загорелся. Вскоре сгорела пожарная каланча, располагавшаяся в центре города. На станции Крымская столкнулись два пассажирских поезда. Всё это приписывалось деятельности вредителей, хотя носило характер настоящей провокации для разжигания террора.

Прогремел военный конфликт с японцами в районе озера Хасан. Там, по видимому, погиб мой друг В.Бегалько. Рядом с краем возникло марионеточное правительство Маньчжурского протектората Японии, потенциального врага нашей страны. Край всё больше становился проходным двором.

Обстановка взаимного недоверия и людоедства сказались и на нашей кафедре. Одна ассистентка подняла склоку против другой. Вспоминая, не могу понять, что они обе не могли поделить? Педагогическую нагрузку - так она была маленькой, оставалось много времени для творческой работы и для досуга. Видимо, действовала на психику общая обстановка жизни. Я пытался осторожно урезонить обеих, но без успеха. Тогда подобная вражда как правило заканчивалась арестом одного из недругов, и вовсе не обязательно, чтобы обвинения друг против друга носили политический характер. Но вдруг ассистентка-зачинщица неожиданно замолкла: арестовали её мужа, партийного работника, и тогда всё стихло, зачинщица скандала испугалась за свою судьбу.

В этом году в институт прислали около сорока молодых парней и девушек из Грузии и зачислили студентами первого курса. Все они как на подбор были

очень слабо образованы. К концу первого, началу второго курса все они благополучно исчезли - перевелись в Грузию.

Лето 1938 года - я вновь на природе, работаю на Оборской ветке в тайге, той самой, куда когда-то выезжал от института защиты растений по поводу истребления крыс, а также от мединститута на лесозаготовки. Величественная дальневосточная тайга в то время изобиловала зверьми как крупными, так и мелкими, разнообразными птицами. На них развивались клещи, переносчики таежного клещевого энцефалита - тяжелого заболевания человека. На изучение кровососущих членистоногих я и направился на Оборскую ветку. При больнице станции Обор мне предоставили на всё лето прекрасный передвижной на полозьях домик, или как их называли - вагончик. Ранней весной я начал отстрел белок, птиц, отлов мышевидных грызунов, тщательно с них собирал клещей и блох, изучал их цикл развития, хозяев прокормителей и многое другое. Через месяц сюда же заявился из Ленинграда и Москвы большой отряд академика Евгения Никаноровича Павловского. Все они, застав меня, удивились и отчасти обрадовались тому, что я начал работу на месяц раньше, застал пробуждение природы. Большая часть участников экспедиции принадлежала кафедре общей биологии Военно-медицинской академии наук, и поэтому все они носили военную форму со знаками отличия. На одного из членов экспедиции, пожилого лаборанта Грачева, возложили обязанности добывать животных, и мы с ним оказались в своеобразной конкуренции, по меньшей мере Грачев старался показать себя настоящим охотником, хотя ему по возрасту было нелегко состязаться со мною.

Здесь мне стоило немало труда найти себе помощника. Со мной согласился работать молодой парень Яша Кривобоков из числа спецпереселенцев. Комендант поселения долго сомневался и куражился, можно ли отпустить своего подневольного, да еще которому будет вручено дробовое ружье для отстрела пичужек и белок. С Яшей мы дружно проработали всё лето.

Как-то я задумал построить из трех досок амарочку и на ней совершить путешествие по речке Обор в большое Петропавловское озеро и оттуда в реку Амур. Амарочка получилась необыкновенно верткой, слишком маленькой, и ничего не вышло из моей затеи. Тогда сотрудники отряда не предполагали, что я по образованию медик. Сам Павловский тоже считал меня зоологом. В то время я уже хорошо знал всех птиц, зверей и даже каждого мог назвать по-латыни. Знал и растения, правда значительно хуже.

Природа тайги покорила меня своей красотой и девственностью. По результатам работы на Оборе я написал фаунистическую статью о птицах и зверях этого таежного района, а по сборам клещей нарисовал примерную схему цикла развития трех основных видов клещей обитателей тайги. Все материалы отдал Павловскому, но они не увидели свет.

Быстро пролетело таежное лето. Наступила зима, и я вновь принялся за педагогическую работу в мединституте. Когда же закончил читать курс общей биологии, прислали из Москвы заведующую кафедрой Зинаиду Иосифовну Штерн, женщину болезненную. Почему она появилась только тогда, когда курс общей биологии полностью закончился, и до новых занятий оставалось по меньшей мере восемь месяцев - не знаю. Научных интересов она не проявляла

никаких, и я так и не знал, какая её специальность. Назначение её было явно по протекции. В то время я не разбирался в тонкостях закулисной кадровой политики, да и не пытался разбираться. Все мои устремления были направлены на работу в природе, и я с радостью распростился со своим положением исполняющего обязанности заведующего кафедрой.

В те времена педагогическая нагрузка была маленькой. К примеру, когда я работал ассистентом, то вел практические занятия только с двумя группами студентов по 20 часов в каждой и только в течение первого семестра. Второй семестр оставался полностью свободным. Когда меня заставили заведывать кафедрой, то моя нагрузка состояла только из 60 часов лекционных. И всё! При таком объеме педагогической работы можно было с успехом заниматься наукой, а сама педагогическая работа становилась как бы придатком и приносила пользу - развивала знания, способствовала расширению опыта. Да и сама по себе работа среди молодежи приносила душевное удовлетворение. Сейчас обстановка работы в высших учебных заведениях совсем другая, ассистент несет нагрузку в 600-800 часов в год, заведующий кафедрой - 300-400. Кроме того, полагается проводить так называемую воспитательную работу, посещать общежития.

Зимой на каникулы поехал в Ленинград, повидал участников Оборской экспедиции, сотрудников Военно-медицинской академии, побывал в зоологическом институте - его директором был тот же Е.Н. Павловский, возглавлявший школу паразитологов. Там, в кабинете молодого и способного зоолога Аргиропуло (о нём я уже упоминал), встретил зоолога Снегирева, возглавлявшего зоологический сектор Дальневосточного филиала Академии наук СССР во Владивостоке. Чем-то я ему понравился, и он предложил мне поступить в этот сектор и переехать из Хабаровска во Владивосток. Предложение меня обрадовало, оставаться в институте не хотелось, надоела обстановка взаимного людоедства среди преподавателей, директор вызывал во мне отвращение. Тогда с величайшей радостью из Ленинграда послал фототелеграммой, этот вид связи только что появился, заявление об увольнении.

И вот в апреле 1939 года я уже во Владивостоке – этом живописном городе на берегу моря и залива Золотой Рог, готовлюсь к предстоящей летней работе в должности заведующего паразитологической группой зоологического сектора. Впрочем группы как таковой еще не существовало, её предполагалось создавать. Местом летней работы выбрали Супутинский заповедник, расположенный в девственной тайге в сорока километрах от города Уссурийска. Туда же прибыла уже хорошо мне знакомая группа ученых академика Павловского. По клещам и наружным паразитам животных работало нас пятеро: Мончадский, Померанцев, жена его Сердюкова, их лаборант и я. Мы в самом глухом месте заповедника, вокруг могучий лес, горная речка, небольшая светлая полянка, поросшая кустарником, из леса раздавались гомон и пение птиц, великое множество бабочек, жуков, лесных клопов и прочих мелких жителей леса копошилось всюду. Вскоре микробиологи отряда установили, что в нашем районе клещи очень сильно заражены вирусом таежного энцефалита, так что мы оказались в опасном месте. Клещей же водилось величайшее множество, и когда мы вдвоем с Померанцевым ходили по тайге, то всё время собирали их друг с друга, тем самым оберегая себя от укусов. Померанцев - очень увлекающийся,

трудолюбивый и талантливый паразитолог, специалист по клещам. Как-то мы собрались с ним в дальнее с ночлегом путешествие. Но меня неожиданно вызвали во Владивосток. В городе меня ожидало неожиданное и печальное известие: решением правительства город объявлялся закрытым, научные учреждения из него подлежали выселению и частичной ликвидации. Под ликвидацию попал и наш филиал Академии наук. Так закончилась моя очень короткая работа в этом академическом учреждении и моя мечта перейти целиком на зоологическую работу...

За те дни, что я находился в городе, Померанцев, не дождавшись меня, сам пошел в дальнее путешествие и набрал на себя массу клещей. К нему присосалось около двадцати штук. Ученый получил большую дозу инфекции, тяжело заболел и умер. Заболел также и Мончадский. Смерть мужа сильно сказалась и на его супруге, и вся наша группа неожиданно распалась. Крупный ученый, энтомолог, преданный своему делу, старожил Дальнего Востока, очень покладистый и миролюбивый с окружающими Алексей Иванович Куренцов предложил мне остаться работать в горно-таежной станции Академии наук близ города Уссурийска, недалеко от Спутинского заповедника и тогда, огорошенный крахом своих надежд, я сгоряча сделал большую ошибку, решил проведать своих родителей и поехал в город Ташкент, где они уже обжились. Теперь, вспоминая своё неожиданное решение, я понимаю, насколько в то время я был непрактичен, поверхностен в суждениях и беспечен. Виною тому прежде всего моя молодость, увлечение науками в ущерб познания бытовой обстановки и, главное, отсутствие наставника, учителя. Впрочем, тогда я не предполагал, что собравшись в Ташкент навсегда распростился со своей родиной, которую любил и знал.

В Ташкенте так всё сложилось, что я устроился работать в Узбекском институте эпидемиологии и микробиологии в паразитологический отдел и стал заниматься изучением ядовитого паука каракурта. Этот период жизни описан в моей книге "Черная вдова" (Алма-Ата, издательство "Казахстан").

Всю зиму я усиленно работал над литературой, просмотрел всё, что только мог, где было бы упоминание об этом пауке в библиотеках города Ташкента. Зимой, когда из коконов паука, содержащихся в лаборатории, стали выходить крошечные паучки, проделал трудный эксперимент, отпрепарировал 60 ядовитых желез этих крошек, доказал, что и они ядовиты, только во много раз меньше, соответственно своему размеру и возрасту. Себя не жалел, работал очень много, и у меня развились симптомы язвы желудка. Тогда случайно мой знакомый предложил съездить на велосипедах на несколько дней в пустыню. И вот забавно, в трудной поездке все симптомы заболевания исчезли. Все мои недуги были результатом переутомления.

Наступила весна, и я устроился работать на фельдшерском пункте в кишлаке Муратали в сорока километрах от Ташкента. Работал много, с громадным увлечением, открывая одну за другой загадки жизни ядовитого паука, и материал, собранный за лето, оказался неожиданно большим. Тогда я понял, что исследователь обязан погрузиться во что-то одно, в котором можно открыть большое, а не браться за всё понемногу вразброс.

Незаметно кончилось лето, и подкралась осень. Небо чаще стало закрываться тучами, кое-когда перепадали дожди. На опустевшие поля стали опускаться стайки кочующих жаворонков и скворцов. Высоко в небе потянулись стаи журавлей, покидающих родину. Пришла пора заканчивать полевую работу. Я распростился с фельдшерским пунктом, со своим помощником и, собрав оборудование и пожитки, уехал в Ташкент. Немного грустно было расставаться с маленьким кишлаком Муратали, здесь я познал радость поиска, а кропотливый труд оставил глубокое чувство удовлетворения.

В обработке полученных летом материалов, в написании научных статей пролетела короткая южная зима, а когда наступила весна, потянуло в поле.

Перед началом летних работ мне предложили сделать на ученом совете доклад. Это было своеобразное испытание моих способностей и подготовленности к предстоящему исследованию. Во время доклада мне пришлось поспорить с женой Ходукина, директора института, и неожиданно для меня она оказалась женщиной крайне неуравновешенной. Ей многое прощалось из-за нежелания огорчать мужа. Про неё говорили, что каждый новый сотрудник института сперва вызывал у неё восхищение, затем равнодушие, вскоре переходящее в ненависть. Мой смелый ответ на её какую-то нелепую реплику, встретил большое, хотя и тайное одобрение, судя по тому как меня приветствовали после этого заседания. Этот эпизод едва не сорвал мою работу в институте и в дальнейшем оказал большое влияние на мою судьбу. Вскоре, неожиданно, Ходукин предложил мне заняться изучением иксодовых клещей, то есть фактически сменить тему, на которую я уже потратил немало сил. Я отказался от этого предложения. Заставить меня силой на виду всего коллектива было неудобно.

Пришла весна. Я засобирался к выезду на летние исследования, и тогда был предпринят еще один маневр, чтобы сорвать мои дела: неожиданно Ходукин заявил мне, что денег на полевые работы по изучению каракурта нет. Все мои планы рушились. Без помощника-рабочего, без небольшой суммы командировочных я не мог заняться разработкой намеченной темы. Да никто и не разрешил бы мне проводить полевые работы без дополнительной дотации. Смысл моей работы в институте терялся. Приуныл, понял, что по отношению ко мне двинуты темные силы. Сотрудники института мне молча сочувствовали. И тогда, как не сказать "мир не без добрых людей", старший научный сотрудник отдела Кеворков заявил, что деньги на полевую работу для меня он выделяет из средств, отпущенных для его полевого отряда.

Ходукину пришлось молча сдаться. Тогда, поглощенный работой, я не распознал сразу источник создавшейся обстановки. Всё объяснялось просто: жена Ходукина мстила мне за смелую реплику на ученом совете. До сих пор в своём сердце я храню благодарность Кеворкову и думаю, если бы не его помощь, моя судьба стала бы совсем иною. Но какую, разве можно сказать! Иногда ведь всё происходит по пословице "Нет худа без добра!" Мне посоветовали обосноваться в районном селе Пскенте. От Ташкента оно находилось на расстоянии пятидесяти километров.

Самым трудным после написания диссертации для меня оказалась сдача экзаменов по английскому языку. Его пришлось спешно изучать самому, в

медицинском институте нам преподавали немецкий язык, к нему у меня душа не лежала, да и преподавался он кое-как.

По каракурту я провел детальное изучение биологии паука и открыл много интересных особенностей его образа жизни, а также отравления его укусами животных и человека. В начале мая на заседании ученого совета Ташкентского медицинского института я защитил диссертацию о каракурте, и мне присвоили ученую степень кандидата биологических наук. Результаты моего исследования оказались настолько интересными, что кто-то из членов ученого совета стал настаивать на присвоении мне не кандидата, а доктора наук. Против этого возразил Ходукин. Обо всём произошедшем мне рассказали, когда прощался с институтом.

ПОЕЗДКА В ИГРИСУ

После защиты диссертации меня безудержно потянуло в поле. Но встретить долгожданного пробуждения каракуртов не удалось. Высоко в горах, в сотне километров от городка Шахризябс¹⁵, в верховьях речки Игрису, в маленьких глухих кишлаках, разбросанных почти под вечными снегами, вспыхнуло какое-то заболевание, и мне пришлось возглавить от института небольшой отряд, чтобы на месте бактериологи провели серологические реакции и поставили окончательный диагноз. Предполагался сыпной тиф. Поездка оказалась очень интересной. В самом Шахризябсе, прежде чем отправиться в путь караваном на лошадях, ходили смотреть старинный и величественный минарет, высотой около 50-70 метров, украшенный затейливым орнаментом из разноцветных, покрытых глазурью, кирпичей. Он представлял собою высокий цилиндр, внутри него располагалась винтовая, из кирпича же, лестница, ведущая на самый верх. С этого минарета муэдзины созывали верующих к молитве Аллаху. Рассказывали, будто с вершины минарета сбрасывали приговоренных к смерти преступников, а также уличенных в супружеской неверности жен.

Возле минарета внимание привлек полуголый бородатый мужчина. Он разложил на мощенном плоскими кирпичами дворе вокруг минарета свой ватный халат и колотил по нему камнем, приговаривая какие-то слова. Оказалось, как мне объяснили, это "дуана", то есть что-то вроде нашего юродивого. Камнем он бил вшей, во множестве угнездившихся на его халате.

Ехали верхом на перекладных лошадях по тропинке в горах. С нашего пути слетали громадные птицы - грифы, кое-когда на вершинах гор появлялись горные козлы, показывались фигурки лисиц, в воздухе носились дикие голуби, в небе парили орлы. Всё это производило глубокое впечатление, и я внимал окружающей природе с величайшим интересом. Один раз наш караван шел по неторной тропинке на краю каменистой осыпи. Далеко внизу шумела горная речка. И вдруг навстречу нам показался караван навьюченных ишаков. У меня мелькнула тревожная мысль: "Как же мы, два каравана, разойдемся на такой крутизне с единственной тропинкой?" Но никто не проявлял тревоги, и вскоре мы свободно разминулись, а пара ишаков даже затеяла вражду и стала лягаться, выясняя между собою какие-то отношения.

До конечной цели нашего путешествия, Игрису, добирались несколько дней. Здесь мы остановились в крошечном медицинском пункте, вдали от небольшого аульчика. Таких аульчиков располагалось немало в ущельях, состояли они из пяти-десяти кибиток. Их жители меня поразили своей внешностью - светлоростые, голубоглазые, они не походили ни на местных жителей, ни на узбеков, ни на таджиков. Это были явные остатки какого-то исчезнувшего европеоидного народа, затерявшегося в высоких горах. Наш толмач, как звали переводчика, жаловался: "Знаю узбекский, казахский, туркменский, таджикский, знаю даже фарси, но здесь часто не могу их разговор понять как следует!" Рассказывали, что будто это остатки войска Александра Македонского. Как жаль, что в то время я был недостаточно эрудирован и не сообразил, что жители этого мирка могут быть реликтами скифов, большого европеоидного народа, процветавшего на территории современной Средней Азии с пятого-четвертого веков до нашей эры. Тогда никто этим не интересовался. Все они были мусульманами, хотя женщины чадру не носили. Сейчас вряд ли что-либо осталось от этих аульчиков: лет двадцать тому назад, развивая хлопководство, правительство Узбекистана провело жестокую операцию переселения жителей высокогорных поселений в долины.

Пока наши микробиологи ставили диагноз заболевания (оно оказалось самым обыкновенным сыпным тифом, вшей же, переносчиков болезни, водилось в изобилии даже в бородах мужчин), я бродил с ружьем, рассчитывая на голубей: с питанием тогда было очень скверно. Скалистые горы со снежными вершинами, крутые каменистые осыпи, горные озерки, стремительные ручьи, бегущие в глубоких ущельях, своеобразная и совершенно незнакомая растительность - меня глубоко поражали. Не зря природа Средней Азии своим разнообразием и пестротой издавна привлекала к себе многих самоотверженных русских исследователей.

ГОДЫ ВОЙНЫ

Уже ранней весной 1941 года попахивало порохом. Удивительно, как этот запах не учуял кровавый деспот страны, вождь народов Сталин! Вскоре после возвращения из поездки в Ташкент началась война. Все мы тяжело переживали её объявление, знали какие она принесет бедствия. В первый день объявления войны Молотов вещал по радио: "Дорогие братья и сестры..." Слова эти, ласковые и непривычные для нас в то время, звучали необычно. Радио часто повторяло песню "Реве та стогне Днипр широкий". Её торжественный мотив звучал сурово и настораживающе. "Вождь народов" молчал. В день объявления войны в Ташкенте всюду по учреждениям и предприятиям прошли массовые митинги. Помню хорошо, сотрудник нашего отдела Михаил Софиев, уроженец Бухары, выступая колотил себя в грудь, с пафосом заклиная пролить кровь и отдать жизни во имя спасения Родины в борьбе с немецкими захватчиками. С уважением я смотрел на него и думал: "С такими людьми нелегко будет воевать нашим заклятым врагам". Каким я был наивным!

Прошел первый тревожный месяц войны, и я получил повестку с предписанием явиться с вещами в военкомат. Вместе со мною получил такую же повестку и Софиев. Во дворе военкомата собралось много народа, все с котомками. Молчали, каждый ждал вызова в здание военкомата. Софиев пришел без ничего и через полчаса ушел с документом об освобождении от призыва по ходатайству нашего института перед министерством здравоохранения. Потом, как мне рассказали, получив броню от призыва, он тотчас же уволился из института и поступил в противомаларийную сеть, из которой в армию не брали. В то время малярия считалась среди болезней, распространенных в Средней Азии, самой опасной по своей массовости. Кстати, Софиев состоял в партии, сколько было тогда подобных перевертышей.

Судьбе было угодно распорядиться так, что всех нас, ташкентцев, призванных в этот день, целым густо набитым "новобранцами" эшелонам, направили на Дальний Восток, и я попал, по удивительному совпадению, в свой родной город Хабаровск. Здесь сперва меня определили на должность заместителя начальника учебной части дезинструкторского отряда ДВ фронта, а затем и его начальником, в звании капитана медицинской службы, хотя, как я узнал потом через несколько лет, мне как кандидату наук должны были присвоить звание майора.

Сколько печали переживали все мы, молча, с мрачными лицами, выслушивая по радио у репродукторов сводки военного командования о сдаче одного за другим наших городов! Какой болью в сердце отзывались эти сообщения.

Наш отряд разместили за городом почти на берегу Амура в большой казарме и небольшом доме, вблизи моста через реку и рядом с военным санаторием. Потекла тяжкая будничная армейская жизнь с тревогами за судьбу страны. Я был обязан приказывать и выполнять приказания. Окно моей комнаты выходило на великую реку и вид её, постоянно меняющийся, доставлял отраду и успокоение. Моя любимая река юности - батюшка Амур! Как он величественен и красив. А.П. Чехов, проезжая по Амуру по пути на Сахалин в 1890 году, поразился рекой и так сказал о ней: "Описывать такие красоты, как амурские берега, я совсем не умею; пасую перед ними и признаю себя нищим".

Очень часто мне приходилось мотаться в город в штаб ДВ фронта, его санитарное управление, которому подчинялся отряд. Это управление, как это ни удивительно, не представляло, что на мне висит обязанность начальника соединения численностью около двухсот человек с немалой техникой, нагружая меня всякими дополнительными обязанностями, часто заставляло помогать солдатами, как рабочей силой, санаторию. Мне это не нравилось, и я всеми силами отстаивал интересы отряда, всячески хитрил, за что потом и поплатился. Вообще чувство постоянной ответственности за людей, за технику, постановку дела, извечная тяжба с лентяями и твердолобыми помощниками, меня угнетала. Политотдел санитарного управления на третий год моей службы прислал комиссию для ревизии работы. Она долго и нудно проверяла наши дела, но не нашла никакого криминала, кроме того, что было израсходовано сорок литров керосина для вспашки огорода, принадлежавшего отряду. Питались мы, тыловики, плохо, и огородничество поощрялось. И эту смехотворную причину

поставили мне в вину дешевой и несправедливой строгостью и угрозами. Возникли еще две причины недоброжелательного ко мне отношения со стороны политотдела. Комиссар отряда, старый человек, лентяй до невозможности, умелый делец, ладил с политначальством, устраивал им разные хозяйственные побрякки. У меня же с ним отношения не ладились, права наши были одинаковыми. Когда же ввели единоначалие в армии, мой комиссар, любивший выпить, однажды завалился в казарму пьяным: за что я потребовал его увольнения, отказать в котором было невозможным. Косились на меня основательно и за то, что отказался подавать заявление в партию, мотивируя опасением ограничения личной свободы трудовой деятельности. Простить мне подобное поведение не могли, во время войны очень многие соглашались вступать в партию, отчасти не смея противоречить начальству.

Когда я переезжал из Владивостока в Ташкент, академик Павловский прислал мне телеграмму, предложив работу в филиале Академии наук Таджикистана в городе Душанбе (в то время он назывался Сталинабадом). Он курировал этот филиал. Я отказался от предложения и тем самым навлек на себя, как оказалось впоследствии, долгую немилость академика. Отказался потому, что в Ташкенте мне предстоял призыв в армию, и мне не было смысла расставаться с родителями. Но в армию в мирное время меня не взяли, у меня тогда подозревали туберкулез, хотя я, как понял впоследствии, просто от громадной нагрузки сильно похудел. Потом уже во время войны Павловский узнал, где я служу, и по его ходатайству меня перевели из Хабаровска в Уссурийск в вирусную лабораторию ДВ фронта. Оттуда Павловский хотел забрать себе одного сотрудника, и ему требовалась замена. Так через три года я простился со своим отрядом. Здесь в Уссурийске в 1945 году я и встретил победу над фашистской Германией и затем короткую войну с Японией, побывав в Маньчжурии в городах Харбин, Мукден, Чанчунь. В Харбине я купил почти на все выданные деньги "гоби" старую пишущую машинку - мою мечту - и шатался с нею, таская в рюкзаке. Из этого города я пытался вывезти в Уссурийск большую библиотеку, принадлежавшую Японскому географическому обществу. Но для того, чтобы до неё добраться, следовало пройти через комнату, занятую офицерами, сидевшими на чемоданах с "трофеями", так тогда называли различные бытовые вещи. Мне, конечно, не разрешили. Когда же я добился разрешения через начальство, оказалось поздно: ловкие торгаши-китайцы, открыв черный ход, всю библиотеку вытащили, и от неё остались одни пустые полки. Пытался я вывезти библиотеку и из Мукдена. Там на краю города китайцы-сторожа охраняли брошенный японцами бактериологический институт. Библиотека находилась в отличнейшем состоянии, хотя всё оборудование института японцы вывели из строя вместе с микроскопами. И из этой затеи тоже ничего не получилось, а оказавшиеся в Мукдене ученые из Москвы отнеслись к моему предложению спасти книги с равнодушием, тогда всех интересовало, что можно приобрести на "гоби". По-видимому, и эта библиотека досталась торговцам.

ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ

Закончилась война, и я целый год не мог демобилизоваться. Одному из начальников санитарного управления я понадобился для всяких научных справок по инфекциям, переносимым кровососущими клещами и насекомыми. Похоже, что он, осев здесь, собирался заняться научной работой и написанием диссертации в предвидении перехода на гражданскую профессию. Выглядел он хамоватым и делячески предприимчивым. К тому времени я стал автором, быть может так громко говорить, изобретений. Одно - полевой способ опыления порошком пиретрума солдат в том случае, когда зимой невозможно воспользоваться баней и стиркой белья. Прибор для этого предельно прост: камера автомобильной шины накачивалась обыкновенным насосом. И воздух поступал через шланг в небольшую жестяную коробочку с порошком пиретрумом. Из коробочки выходил другой шланг. Его наконечник запускался за ворот рубахи и в прореху брюк. На вшей, или как было принято называть в армии "форма 20" (вот образчик ни к чему не обязывающей секретности), этот способ действовал безотказно. Работали с этим приспособлением три человека: один качал насос, другой держал коробку в руках, встряхивая её, третий - управлял шлангом с наконечником, опыляя солдат. Впоследствии этот способ высоко оценили в Москве, и главный эпидемиолог ДВ фронта Краснов после войны меня крайне удивил, сочтя необходимым извиниться передо мною за то, что не придал большого значения моему приборчику. Оказывается, после публикации в каком-то союзном армейском бюллетене этим способом воспользовались (вот предприимчивые!) американцы. Второе изобретение - способ вытаскивания присосавшихся к человеку клещей, очень простой и эффективный, при помощи самой обычной нитки. Дело в том, что вытаскивая клещей из тела пальцами или пинцетом, сдавливают их тело. Это способствует опорожнению слюнных желез вместе с возбудителями заболевания в тело человека. Всякие манипуляции, вроде смазывания клещей маслом и другими веществами, раскачивания их из стороны в сторону (будто это гвоздь, вбитый в дерево!), не оказывают никакого действия на главного переносчика энцефалита клеща рода Иксодес. У этого клеща гипостом, погружаемый в тело человека, вооружен такими крупными, направленными, как у гарпуна, назад шипами, что сам клещ может освободиться, когда в месте присасывания через несколько дней ткани начнут разрушаться и станут рыхлыми. По моему способу, клещ присосавшийся к коже, слегка оттягивается кверху, кожа тоже вместе с ним приподнимается бугорком, и на него набрасывается завязанная как для узла, нитка. Скользя по коже, она точно завязывается у самого основания головы кровососа. Далее остается только несильно и не торопясь потянуть нитку за оба конца кверху. Клещ с лёгким щелчком вылетает из кожи с совершенно целым гарпуном.

Как я жалел, что не додумался до этого способа в детстве, сколько иксодовых клещей мучало меня своими оставшимися гарпунами после моих путешествий по лесам!

С этим способом связана забавная история. В описании этого способа я мельком упомянул о несостоятельности прежних рекомендаций, они принадлежали как раз Е.Н. Павловскому. Рукопись я послал ему. Павловский продержал её тринадцать лет, после чего прислал в журнал "Известия ДВ филиала Академии наук" во Владивостоке, где она с таким запозданием и

появилась на свет. Затем я рассказал о нём в книжечке "Бриодемус-музыкант" (Томск, 1962 г.). Теперь этот способ знают и применяют многие, и он вошел в быт, хотя по старой памяти продолжают пересказывать устаревшие рекомендации Павловского. Так недавно поступил общеизвестный журнал "Здоровье". Когда же я послал в этот журнал описание своего способа, то почтенная редакция журнала сочла лучшим отмолчаться, нежели показать свою некомпетентность.

Война закончилась. Армия стала тяготить. Мысль о демобилизации не давала покоя. Но слава богу! После многих мытарств меня демобилизовали.

В конце войны многие увлекались гаданием на блюдечке. Случайно в этом гадании участвовал и я. Блюдечко мне "сказало", что после армии я поеду в Алма-Ату. Предсказание блюдечка, как я думаю, сбылось по чистой случайности. Перед демобилизацией в нашей лаборатории побывала ученица Е.Н. Павловского, очень энергичная и деятельная женщина, профессор П.А. Петрищева. Она написала рекомендательное письмо в Алма-Ату, откуда я получил приглашение приехать на работу в институт зоологии, входивший в только что оформившуюся из филиала Академию наук КазССР.

ГОРОД АЛМА-АТА

В Алма-Ату я приехал в ноябре 1946 года и сразу окунулся в научную работу, невероятно по ней соскучившись. Я решил продолжить изучение ядовитого паука каракурта и одновременно заняться другим пауком, самым крупным в нашей стране - южно-русским тарантулом. Моим верным помощником стал недавно демобилизованный из армии Михаил Оленченко, сын семиреченского казака.

В работе зоолога-натуралиста имеет большое значение подвижность. Откуда же взять транспорт, когда институт обладал только одной старенькой грузовой машиной ГАЗ-АА, или как её называли полуторкой. Пришлось купить велосипед. Принес я его на себе с базара, у него даже не крутились колеса. С Мишей Оленченко мы много попутешествовали на велосипедах по бездорожью, часто по изнурительной жаре, доезжали даже до озер Бийлюкуль, Аккуль, Ащиккуль, расположенных за городом Джамбулом. В очень жаркие дни пытались ездить ночью с ацетиленовыми фонарями, страдая от жажды, пили плохую воду с марганцовкой для её стерилизации, когда не было возможности прокипятить. Откуда брались силы и энтузиазм при плохом питании и ограниченных продуктах! Без преувеличения скажу, сейчас на подобные условия никто бы ни за что не согласился.

Помню, сколько сил было истрачено на разгадку жизни этого интересного паука, сколько бессонных ночей прошло над ним в наблюдениях, и сколько километров проделано на велосипеде по пустыням в одуряющем зное.

Атмосфера в институте мне казалась хорошей. Ко мне относились по-братски до тех пор, пока я, неожиданно для всех, не защитил докторскую диссертацию. Защитил я диссертацию на ученую степень доктора биологических

наук 5 мая 1950 года, через три с половиною года после демобилизации из армии, а через два года после защиты получил звание профессора зоологии.

Работая над диссертацией, я провел обширное и подробное изучение анатомии, морфологии, биологии ядовитых пауков каракурта и тарантула. Впоследствии, результаты работы были опубликованы большой монографией.

Кроме того, посредством многочисленных экспериментов с животными было доказано, что яд каракурта быстро рассасывается с крохотного участка кожи, в который вонзаются ядоносные крючья паука. В результате было предложено предотвращение отравления человека, укушенного пауком, посредством простейшего способа - прижигания места инъекции яда воспламеняющейся головкой спички. Этот способ, проверенный на многих морских свинках, был испытан на себе и стал широко использоваться среди населения. Зато вместо благодарности мне сделали строгое внушение, что подобный эксперимент на себе я не имел права совершать, не спросив разрешения.

Изменившееся ко мне отношение заставило задуматься. Я понял, что идея равенства, в её вульгарном выражении, пронизала наше общество, создала особенный психологический облик и способ мышления и породила коллективную враждебность к людям инициативным, кто может лучше и больше работать и тем самым выделяется среди окружающих. В тщательно нивелированном обществе она приняла форму религии спокойной иждивенческой уравниловки. Но став доктором и профессором, я получил только небольшую прибавку к заработной плате и никаких более привилегий. Наоборот, у меня стали с особенным удовольствием отнимать лаборанта на сельхозработы, отказывать в машине для поездки в поле. Быть может, решили, что теперь я буду пробивать дорогу в члены-корреспонденты, академики, на престижные должности, то есть к чему никогда не стремился, знал - они не для меня, так как уведут от любимого труда, общения с природой.

Вскоре после защиты диссертации я простился с велосипедом навсегда, купил мотоцикл "Харлей" с приделанной к нему коляской и, сев на него, почувствовал себя королем. После велосипеда езда на нём показалась верхом совершенства. На мотоцикле начались странствования преимущественно по Семиречью. Мотоцикл этот рассчитан на асфальтированные дороги, а из-за наших, тогда неустроенных, гравийных дорог ладони всегда покрывались грубыми мозолями. Но помощник Миша Оленченко оказался невероятным консерватором и невлюбил нашу, как он выражался, "железяку", особенно когда она начинала капризничать в диких и безлюдных местах. Но, слава богу, машина всё же работала отлично, только кикстартер находился в неудобном месте со стороны коляски, в узком пространстве, и, срываясь, больно бил меня по голени правой ноги.

После изучения пауков мне очень хотелось заняться сложным и интересным в энтомологии - поведением насекомых и, конечно, прежде всего самых удивительных созданий - общественных насекомых: ос, пчел и особенно муравьев. Но до этого ли было, когда за каждым моим шагом взирали глаза недоброжелательной команды, приближенной к начальству, готовой тотчас же бросить обвинение в отрыве науки от жизненных запросов страны, от практики.

Неважно, что в институте существовало немало дармоедов, лентяев, бездарных ученых, не дающих добра ни для науки, ни для практики. Кто ничего не делал, с того и спрашивали мало, кто же трудился в меру сил, на того обращали пристальное пристрастное внимание.

Меня особенно интересовали инстинкты насекомых. Они мне казались далеко не такими трафаретными, как их понимали многие исследователи. Обладая широким спектром изменчивости, они позволяли организму целесообразно реагировать на изменяющуюся обстановку среды, в дальнейшем же за ними следовали морфологические изменения, отбираемые природой. Но пришлось заняться саксаулом, этим чудесным растением пустыни, изучением насекомых, обитающих на нём. Тогда саксаулом никто не занимался, и я оказался новатором. Саксаул - хозяйственно значимая культура, и подобное направление вполне оправдывалось. Но и тогда последовали упреки примитивистов: "Почему саксаул, а, допустим, не свекла, подсолнечник или даже картофель?"

ПУСТЫНИ, ЖИЗНЬ НАСЕКОМЫХ И ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ

Занявшись саксаулом, я стал ездить по пустыням, транспорт у меня был свой. Пустыни меня очаровали своей необыкновенной природой, хотя и суровой, но очень своеобразной. Больше всего мне нравились западные отроги Джунгарского Алатау, горы пустыни Чулак, Алтын-Эмель, Катутау, Калканы, каменистые пустыни и очаровательные тугаи реки Или. С тех пор прошло более сорока лет, и природа полюбившегося мне района сильно изменилась. Вскоре после организации в Казахстане Общества охраны природы по моей инициативе организовали заповедник на Поющей горе вместе с двумя скалистыми горами Калканами. Стараниями браконьеров почти исчезли все джейраны, уменьшилась численность горных козлов, стали очень редкими архары, даже там, где их было много - на Калканах. В начале ущелья Капчагай построили плотину, и выше неё, почти до самой Поющей горы, образовалось большое Капчагайское водохранилище, принесшее множество бед всему краю, озеру Балхаш и реке Или.

Ко всем бедам стал наступать засушливый период. Теперь весенние дожди уже не такие, как прежде. Исчезли черепахи, ящерицы, пустынные кобылки, столь украшавшие землю.

Послевоенная жизнь постепенно улучшалась, и года через два я купил недавно выпущенный нашей промышленностью малолитражный автомобиль "Москвич". Путешествия на нём показались мне верхом совершенства, несмотря на то, что мотор был слабоват, крутые подъемы проселочных, особенно горных, дорог приходилось преодолевать на задней скорости.

В те далекие годы природа еще сохраняла свой первозданный облик, и, помню, объехав вокруг озера Иссык-Куль, я встретил только одну легковую машину, да с десятков грузовиков. Сейчас подобное кажется просто невероятным.

Отношения с начальством в институте зоологии стали неладными. Еще ранее, незадолго до сдачи диссертации на защиту, меня тайком подали на переаттестацию с должности заведующего лаборатории на старшего научного сотрудника, мотивируя тем, что якобы я не смог организовать работу. А чего

было организовывать, если начальство мне умышленно не давало штатных единиц. Написал возражение в отделение биологических наук академии, там разобрались и переаттестацию отменили, а мои тайные неприятели оконфузились успешной защитой диссертации. Пока директором института был А.А. Целищев, еще можно было работать, но он неожиданно умер и его пост занял самый большой начальник после президента - академик-секретарь И.Г. Галузо, ветеринарный врач по образованию. Человек очень узких знаний, властный, грубый, циничный, он требовал беспрекословного к себе подчинения. Подозрительный к окружающим и мнительный, он опасался людей самостоятельных, независимых и дороживших своим достоинством. Непонятно, как мог его держать при себе ближайшим помощником президент академии К.И. Сатпаев, человек умный и проницательный. В какой-то мере поведение Галузо отражало уже царившую тогда командно-административную систему, пронизавшую все сферы жизни нашей страны. Его боялись, перед ним пресмыкались, подхалимничали и его же тайно ненавидели. Впрочем, администратор он был неплохой, хотя отстаивал интересы института осторожно, желая тем самым показать свою беспристрастность в деятельности академика-секретаря. Роста маленького, с солидным животом, лицо круглое, щеки полные, глаза прятавшиеся в щелочках и сладкая лицемерная улыбка - таким был его портрет. Перед своим начальством сам подхалимнейший, до комизма. И, конечно, бюрократ до мозга костей. Про него шепотком поговаривали всякое, вроде "Галузо-пузо", "что начинается на Г и кончается на О". Бытовала и такая частушка: "Сидят Галузо на крыльце с выражением на лице. Выражает то лицо, чем садятся на крыльцо".

Занявшись саксаулом, я обнаружил на нём множество насекомых-захребетников, мелких комариков-галлиц, совсем не изученных и неизвестных науке. Пришлось вгрызаться в систематику этой группы, прежде чем описывать новые виды и роды. Я тратил массу времени и сил не столько на полевые работы, конечно на собственном транспорте, сколько на изготовление препаратов, просиживание месяцами над иностранной литературой, выписыванием этой литературы из библиотек и фотокопированием. В то же время на мне уже висели аспиранты, требовали ежеминутной помощи и присмотра, чтобы не лентяйничали, не тратили время попусту. В тяжком труде отчасти находил отрезвление от обстановки взаимного подсиживания, недоброжелательства и зависти, царившей среди многих ученых. Ограничение свободы мышления и высказывания собственных, особенно оригинальных, мыслей, ограниченность в сочетании с ничем не оправдываемой кастовой гордыней, формализм, психология застывших канонов и формулировок - вот что правило наукой того времени и царило в её среде. Тогда подобное состояние застоя только начинало расцветать. Тогда же и царила пословица "Цель оправдывает средства".

Комарики-галлицы меня основательно доконали, стало шуметь в ушах, и кружилась голова от переутомления. Сказывался почти четырнадцатичасовой рабочий день. Удивительный по деликатности, образованности и интеллигентности профессор А.А. Штакельберг, сотрудник Зоологического института Академии наук СССР, по фамилии немец, по душе - чисто русский

человек, диптеролог, продвигал мои статьи по галлицам и они, едва ли не вне очереди, публиковались в журнале "Энтомологическое обозрение".

Вульгарная политизация нашей жизни, обстановка тотальной слежки и фальсификация действительности особенно наглядно проявились в науке во время расцвета так называемой лысенковщины. Восхождение на пьедестал Лысенко сопровождалось погромом всяческого инакомыслия вместе с приказным внедрением убогой лысенковской философии, основанной на дремучем невежестве и нищете духа. По всем научным учреждениям прошли массовые собрания, где достижения классической генетики предавались анафеме, ученые, занимавшиеся генетикой объявлялись едва ли не врагами народа и, конечно, реакционерами.

Подобное общее собрание с большой помпой проводилось и в Академии наук Казахстана в присутствии в президиуме высоких должностных лиц из ЦК партии. Доклад и тон вульгарного разгрома генетики проводил по заданию свыше академик-секретарь Галузо. Он сам решительно ничего не понимал в генетике, да этого и не требовалось для манипуляции стандартными бранными утверждениями вроде: реакционер, морганист, поклонник поповских измышлений монаха Менделя, фашистских измышлений немецкого учёного Вейсмана, гороховые законы и т.п. А так как в Алма-Ате собственно генетикой занималась только одна очень скромная женщина, к тому же не имевшая ученого звания и степени, то нападению подверглись все те, кого не любил или опасался Галузо. В их числе оказался и я, хотя никакого прямого отношения к этой науке не имел. Вся полемика носила характер поразительного примитивизма, яркой профанации и издевательства над здравым смыслом. Убежден, что о генетике тогда подавляющее большинство присутствовавших не имело никакого представления, а всё преподносившееся принималось за чистую монету, и мне было горько на душе от сознания в какую глубочайшую пропасть дремучего невежества стремительно падала наша наука. Горько и смешно становилось и оттого, что когда огонь критики коснулся и меня, сидевший рядом со мною сотрудник нашего института поспешно пересел на другое место. Все тогда жили в страхе.

О генетике я тогда имел небольшое представление: в курсе общей биологии, который мне приходилось читать в медицинском институте, был целый раздел программы, посвященный этой науке. Оправдываться перед собранием и отводить от себя обвинения Галузо, высказанные в нелепых и неясных формулировках, не имеющих никакого отношения к генетике, было бессмысленно. К тому же я всегда очень не любил публичные высказывания перед большой и незнакомой аудиторией, чувствовал, что могу сорваться. Вся эта вакханалия производила опустошающее душу впечатление, и чтобы не впасть в пессимизм, следовало принимать единственное решение - уединиться в свою работу, крошечный участок обширного поля развивающейся науки, забывая все передраги жизни. И я, с взъерошенными чувствами, устремлялся в поле, находя исцеление и успокоение в любимой работе натуралиста-зоолога. К тому времени мне удалось полностью отойти от мучавшей меня медицины, лаборатория ядовитых животных была отставлена, я стал заведывать лабораторией энтомологии.

Возвращаешься из поездки в поле и окунаешься в совсем другую жизнь, городскую, хлопотную, служебную. Одно за другим следуют заседания, множество неизбежных бумаг, отчетностей, планов, написание статей, аспиранты, библиотеки и, кроме того, разные неприятности.

СТАРЫЕ ЗООЛОГИ В.Н. ШНИТНИКОВ И Б.К. ШТЕГМАН

Вспоминается один эпизод. В городе жил пожилой человек с большой белой бородой - доктор наук, зоолог Владимир Николаевич Шнитников. Он принадлежал к плеяде вымирающих биологов-натуралистов, ранее много путешествовал по Средней Азии, собирал коллекции, изучал животных, отдавая предпочтение птицам. Я очень его уважал, чувствовал к нему симпатию как единомышленник – натуралист и путешественник. Среди зоологов, работавших в институте зоологии, Шнитников стоял намного выше всех. Типичный интеллигент старого поколения, он скептически относился к Советской власти, не умея скрывать своих чувств даже в страшное время Великого террора. Нигде не работал, жил на скудную пенсию, публиковал научно-популярные, как всегда плохо оплачиваемые, книги, вроде "Млекопитающие Семиречья", издал несколько книг под названием "Животные в фотографиях с натуры". Я был редактором одной из этих книг. Я проводывал одинокого старика, но ненадолго, всегда торопился, жалел время, чем огорчал ученого, что теперь понимаю сам, оказавшись пенсионером, поступая, быть может, жестоко. Но такой я был: никогда мне не хватало времени. Жил Шнитников бедно, его постель покрывала какая-то мешковина, а не одеяло. И одевался тоже скудно, с лицом бледным от недоедания. Одно лишь прекрасное охотничье ружье-двустволка украшало его крошечную комнату. Наша зоологическая братия относилась к нему почти враждебно, особенно глава орнитологов И.А. Долгушин из-за ревности и боязни выглядеть серым в сравнении со старым опытным ученым. Как-то, после публикации его очередной научно-популярной книжки, всех нас, научных сотрудников института зоологии, неожиданно вызвал к себе на совещание академик-секретарь, ради фарса назначив его на восемь часов утра, за час до начала занятий. Все чинно расселись по стульям возле стен в его обширном кабинете, образовав что-то подобное квадрату. У всех напряженные выражения на лицах, никто не знает о чем предстоит разговор, все предполагают какое-то важное дело, обстановка секретности, столь часто бытовавшая в нашей действительности, усиливала напряжение. Всеобщее молчание продолжалось минут десять, за это время важный академик подписывал какие-то бумаги. Наконец, совещание открылось докладом одного пожилого зоолога А.В. Афанасьева о литературном творчестве В.Н. Шнитникова. Его, разумеется, не пригласили. В докладе, сделанном явно по заказу свыше и по чьей-то "высокой" установке, как бытовало в то время, а может быть и без всякой установки, всё творчество старого натуралиста подвергалось вульгарной критике в духе примитивного и политиканского очернительства. Даже не критике, а просто неумело составленному охаиванию с ярлыками вроде аполитичности, отрешенности от идей практических запросов страны и т.д.

После доклада председательствующий академик поднимал каждого по очереди из сидящих на стульях, требуя выражения личного мнения. Каждый, напуганный важностью обстановки и чувствуя, что требуется начальству, угодливо гавкал какую-либо сакраментальную фразу, показывая своё отрицательное отношение к книгам Шнитникова. Запомнилось самое лаконичное и забавное по форме и пустоте выступление орнитолога М.Н. Корелова. Как всегда безапелляционным тоном, он сказал буквально следующее: "Книг Шнитникова я не читал, да и зачем их читать – плохие книги!" Выпалив эту фразу, он сел с важным выражением лица на своё место. Вспоминая всю эту отвратительную картину нелепого группового холуйства, и сейчас стоящую перед моими глазами, думаю как было бы поучительно, если бы она оказалась запечатленной на киноплёнке для будущего поколения как образец глумления над элементарными правами и совестью человека.

На этом совещании нашлось только два смельчака, сказавших добрые слова в защиту старого ученого, один из них был я, другой – профессор, старичок, ветеринар по профессии, работавший в нашем институте по совместительству, Н.П. Орлов.

После совещания я навестил Шнитникова и рассказал об этом весьма неприглядном событии, вспоминая изречение из Евангелия: "Остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях". Моё сообщение старик встретил стоически, несколько не расстроился, наоборот, стал весело и искренне смеяться, заявив, что будет бороться с "оболтусами и негодьями". На следующий день после совещания в республиканской газете "Казахстанская правда" вышла разгромная статья какого-то журналиста, как можно понять, по заказу свыше.

Всё было разыграно по заранее разработанной схеме. Шнитников долго обивал пороги различных инстанций и чего-то всё же добился. В газете опубликовали коротенькую информацию о том, что критика оказалась "необъективной". На большее в то время рассчитывать не приходилось.

В очередной приезд в Ленинград, там я часто бывал для работы над литературой, я зашел к директору зоологического института академику Е.Н. Павловскому с просьбой оказать помощь старому натуралисту, рассказав о его жизни и бедствиях. Павловский внимательно меня выслушал, пообещал поддержку и своё слово сдержал. Вскоре в академическом издательстве в Ленинграде вышла толстая книга В.Н. Шнитникова "Птицы Семиречья". На исследования, результатом которых была эта книга, государство не израсходовало ни копейки денег, и это тогда, когда над изучением птиц в нашем институте зоологии трудилась целая партия орнитологов, расходовавшая немало денег на экспедиционные разъезды на казенных машинах, экипировку, командировочные и, конечно, на казенный спирт. Шнитников же за книгу получил гонорар, оделся в новый костюм, стал лучше питаться и порозовел лицом.

В.Н. Шнитников вскоре переехал в Москву, там в издательстве "Детская литература" издал книжку "Как я стал натуралистом" и, перед смертью, в обыденном добродушно-веселом тоне в очередном письме ко мне сообщил, что врачи нашли у него в животе какую-то шишку и положили в больницу. Умер он

от рака. К столетию со дня рождения Шнитникова его память была почтена только статьёй в "Известиях географического общества" ¹⁶ (1958, т. 90, Москва). Наши орнитологи, несмотря на моё напоминание, отмолчались.

В немного лучшем положении оказался другой крупный ученый, орнитолог с мировым именем Борис Карлович Штегман, с которым я, также как и со Шнитниковым, близко подружился. Прежде он работал в зоологическом институте в Ленинграде, был арестован в годы сталинщины, провел несколько месяцев в заключении и был отпущен. Когда началась война, ему приказали уехать в Казахстан, где пять лет он провел в глухой местности в низовьях реки Или, занимаясь изучением промысла ондатры. После войны ему разрешили работать в Алма-Ате. С ним мы не раз вместе путешествовали как на моём «Москвиче», так и на казенной машине, которую он иногда получал от института защиты растений, в который перешел из института зоологии. О своей работе в низовьях реки Или и быте натуралиста, о разных наблюдениях над животным миром он написал книжку "В тростниках Прибалхашья". Она вышла в издательстве "Казахстан", но весь её тираж приказали уничтожить. За что - непонятно. Политики там никакой не было. Книжка увидела свет, но свет не увидел книжки.

С радостью и тайным ликованием встретил новость: наконец отправился на тот свет "вождь народов". Но такая печаль разлилась на лицах окружающих. Впрочем, многие научились притворяться. Надо же было довести народ до такого состояния, заставить его не только верить, но и преклоняться как перед богом самому лютому врагу своему! Если долгое время твердить одно и то же, можно задолбить в голову даже просвещенному самые невероятные нелепости. Сталин это понимал и умело пользовался фальсификацией всей нашей жизни. Тогда у многих молчавших пробудилась надежда: уйдет вместе со Сталиным порожденное им зло. Но, как показала жизнь, зло тоже совершенствуется, Сталин исчез, но многие годы продолжалось содеянное им, хотя и говорилось в священном писании "Поражу пастыря, и овцы стада рассыпятся" ¹⁷ (от Матфея 26:31).

Потом стал Н.С. Хрущев и короткое потепление в жизни. Я был в Ленинграде, когда прочел свой знаменитый доклад о злодеяниях Сталина Хрущев, вызвав эффект разорвавшейся бомбы. В это время я сидел на вокзале, дожидаясь отправления поезда в Алма-Ату, когда мой хороший знакомый, энтомолог из Новосибирска, с которым мы вместе остановились в Доме ученых во время командировки, примчался на перрон, не выдержав, чтобы не поделиться радостной новостью.

Поведаю еще об одном человеке. Вечерами, прогуливаясь с собакой, я встречался с соседом, человеком серым, очень неинтересным, но всё же кое-как добравшимся до звания члена-корреспондента академии. Как-то я увидел его уничижительно здоровавшимся с другим соседом, академиком - фигурой во всех отношениях важной. Он всегда старался показать своим видом превосходство над окружающими, проходил мимо с высокомерным видом, чему способствовала его физиономия, удивительно схожая с бульдожьей. Я не видел никогда, чтобы он когда-либо здоровался с кем-нибудь из соседей, в том числе и со мною, хотя мы жили в одном подъезде. Тогда я сказал соседу: "И как вы только здороваетесь за

руку с таким человеком? Ведь в 1937 году он был прокурором города, сам участвовал в допросах и истязаниях арестованных и ни в чем не повинных людей".

Один мой хороший знакомый из института защиты растений рассказывал, как чудом выживший его родственник рассказал, что подвергался пыткам самого прокурора. Не следовало мне, доверчивому дураку, откровенничать перед соседом. Сколько раз эта доверчивость приносила мне всяческие невзгоды в жизни. Мой милый сосед тотчас же передал мои слова третьему лицу, и на следующий день ко мне заявила красная от гнева жена академика, старая, расфуфыренная, в кольцах и ожерельях. Она и её муж называли себя старыми партийцами. С агрессивным выражением она набросилась на меня с упреками. Из потока её бессвязных и зло выпаливаемых слов мне на всю жизнь запомнилась только одна знаменательная фраза: "Мы вам дорогу расчищали!" Отделаться от её визита, не наговорив грубостей, мне стоило большого труда.

Видимо злодеяния этого академика в прошлом действительно отличались жестокостью. Другой мой сосед рассказал мне, как после доклада Хрущева о развенчании Сталина на закрытое партийное собрание академии пришел секретарь партийной организации КГБ и потребовал исключения академика из партии за допущенные им беззакония. Но его не исключили, он продолжал благоденствовать, старая сталинская гвардия еще бодрствовала. Когда эта одиозная личность отправилась на тот свет, на дом, где он жил, на углу улиц Курмангазы и Пушкина прикрепили большую мраморную доску о нём. Как-то, выйдя из здания неподалеку, я увидел пожилого человека. Он стоял перед доской и плакал. "Сволочь такая!" - ответил человек на мой сочувственный вопрос, - "он истязал меня в 1937 году!" Страх в сердцах людей продолжал жить. Вот они, выжившие осколки творца Большого террора, выдумавшие для своей кровавой деятельности лживые оправдания. Они "расчищали дорогу"! От кого? От самых достойных, честных и преданных родине людей! За уход их из жизни до сих пор горько расплачивается наша страна. Для кого расчищали? Большею частью для карьеристов и в лучшем случае для насмерть перепуганных людей.

В институте зоологии предприняли всё возможное, чтобы не опубликовать мою монографию о ядовитых пауках каракурте и тарантуле, и предо мною стала проблема гибели исследования без публикации. В конце 1953 года, предварительно договорившись, я переехал в город Фрунзе, где поступил на аналогичную должность заведующего лабораторией энтомологии Киргизской Академии наук. Здесь мне прежде всего пообещали, и обещание выполнили, опубликовать мою монографию о ядовитых пауках ("Ядовитые пауки тарантул и каракурт", 1956 г., Фрунзе).

РИСУНКИ НА СКАЛАХ

Так случилось, что едва ли не с первых моих путешествий по пустыням Казахстана я невольно обратил внимание на рисунки на скалах. Прежде всего меня заинтересовали изображения животных. Археологи не обращали внимания на зоологическую сторону наскального искусства. Я же обнаружил множество

видов животных, ранее обитавших и ныне исчезнувших, вроде короткорогого бизона, быка-тура, лошади Пржевальского, зебу, дикого верблюда и диких лошадей, муравьедов, ныне сохранившихся только в Африке¹⁸, и многих других.

Почти за полустолетие, во время многочисленных путешествий, автором было найдено на территории Казахстана и просмотрено около 60 тысяч наскальных рисунков. Подавляющее их большинство относится к горному козлу и горному барану, безыскусны, неумелы, грубоваты. Но среди них встречается немало рисунков, представляющих большой интерес, изящно исполненных и несущих, подчас, глубокую и трудно расшифровываемую информацию. Таких рисунков было переснято более полутора тысяч.

Вспоминается первая встреча с наскальными рисунками. Это было давно, более сорока пяти лет назад, вскоре после Второй Мировой войны. Я путешествовал на мотоцикле по самым западным отрогам Джунгарского Алатау - горам Чулак, небольшому хребту, сильно скалистому и расчлененному, находившемуся в окружении пустынь. Горы были совершенно безлюдны, очень живописны. Кое-где в ущельях текли ручьи, вода давала жизнь многочисленным обитателям гор и пустынь, и у меня, натуралиста, была масса дел.

Первое пустынное ущелье Караспе было хорошо обследовано. Осталось только побывать в дальнем и правом отщелке, упиравшемся в большую черную каменную стену. Издалека казалось, что эта стена будто возведена человеком вокруг когда-то существовавшего поселения. В общем, история "стены" мне была знакома. Многие миллионы лет назад в этом месте оболочка земли образовала трещину, в которую устремилась огненная лава. Она застыла, потом разрушавшиеся с поверхности скалы обнажили породу, заполнившую трещину, и она, оказавшись значительно крепче, образовала что-то подобное гребню, возвышавшемуся черной стеной. Такое образование геологи называют "дайкой". Под лучами жаркого южного солнца на поверхности породы, это был порфирит, образовалась черно-коричневая корочка, даже не корочка, а тончайшая пленка из марганцовистых и железистых солей - так называемый "загар пустыни". А от ветра, постоянно несущего мельчайшие пылинки, поверхность камней стала как бы полированной, блестящей, то есть на ней образовался "лак пустыни". И то и другое возникало в течение многих сотен тысячелетий и характерно не только для пустыни, но и для высоких гор, где также обильны лучи солнца. К этой черной стене и хотелось подобраться, взглянуть на неё. Уж очень причудливой она выглядела издалека.

Как всегда, в ущелье царил тишина, горы, казалось, застыли в извечном и древнем покое. Изредка на скалах раздавались крики горных куропадок-кекликов, иногда слышался тонкий посвист большой песчанки - грызуна размером с крысу. И вновь наступала тишина, такая необычная, какую можно ощущать только в пустынях да глубоких пещерах. Слышалось биение сердца, шорох одежды и тикание ручных часов. Эти звуки казались необычно громкими и неестественными.

В то время в этих горах водилось много зверей и птиц. На далеком, высоком скалистом гребне горы я увидел одинокого горного козла. Он застыл, как изваяние, будто прислушиваясь к царящей тишине. У самого подножия горы на каменистой осыпи мелькнула лисица. Зачувяв меня, она побежала легко и

бесшумно, будто птица летела над самой землей. На её тонком теле висели длинные клочья шерсти, а хвост казался неестественно большим. Стронутые ею камешки с легким звоном скатывались вниз. Но вот любопытство зверя взяло верх над осторожностью и, обернувшись, она остановилась. Пока я переваливал через небольшой мысок, намереваясь за ним спрятаться, лисица внимательно следила за мною янтарно-желтыми глазами.

Завернув за мысок, я подполз к черному камню и, лежа на боку, вынул бинокль. Интересно понаблюдать за зверем. В это время случайно мой взгляд упал на черный камень. На его загоревшей поверхности видно что-то странное: ряд глубоких точек, подобие дерева, фигурка козла и непонятное сооружение. Рисунки старые, совсем почернели, им, без сомнения, несколько тысяч лет.

Ранее я не раз читал про наскальные рисунки, и представлялись они мне редким и необычным свидетельством далекого прошлого. И вот теперь привелось с ними встретиться. Неужели это они? И, зачарованный своей находкой, стал внимательно в неё всматриваться. Сооружение над фигуркой козла походило на какую-то западню, а то, что мне вначале показалось деревом с точками, оказалось человеком, нарисованным кверху ногами. Точки могли изображать стадо животных, или войско, или еще что-нибудь. Фигурка же человека могла быть умышленно изображена кверху ногами, символически обозначая, как можно было подумать, убитого, а точки - число погибших людей.

Теперь мой взгляд невольно заскользил по черным камням, их здесь было много, и... какая удача! В самом начале черной дайки я увидел целое скопление рисунков: неожиданно и случайно набрел на необыкновенное место. Здесь когда-то первобытные художники устроили подобие картинной галереи. Как всё это показалось мне необычным! И я, забыв про жару, жажду и усталость, принялся жадно рассматривать камни. С тех пор я никогда не упускал возможности поискать наскальные гравировки во время многочисленных путешествий и перерисовать наиболее интересные из них.

В этот период жизни у меня уже накопилось много материала о различных разгадках секретов жизни насекомых. С публикацией же научных сообщений было очень трудно, и мне пришла мысль рассказать о своих наблюдениях о жизни насекомых, о романтике путешествий, о буднях творчества ученого в научно-популярной форме для широкого круга читателей. Перед переездом во Фрунзе вышла моя первая научно-художественная книжка "Неутомимые охотники" (Алма-Ата, 1955 г.). Эту же книжку, немного дополненную, вскоре же издала Москва ("Чудесная пестрокрылка", Москва, 1955 г.). С тех пор мои научно-художественные книги стали выходить одна за другой...

КИРГИЗИЯ

Лаборатории энтомологии Киргизской Академии наук не везло. Передо мной лабораторией заведывал оригинальный и крупный ученый А.А. Любищев. Он расстался с Киргизией и её академией, не выдержав бесконечных нападков. Мой переезд совпал с выборами членов-корреспондентов и академиков этого учреждения. Поэтому Галузо сразу же объявил мою перемену места жительства

попыткой заполучить академическое звание, хотя я к нему никогда не стремился, отчетливо представляя, какое болото следовало перейти, чтобы попасть в число избранных. Да и никто мне и не обещал подобного.

К тому же, как и полагалось, эти выборы проходили не на честной основе. К примеру, известный ботаник, доктор наук Выходцев, проработавший многие годы в Киргизии, вполне достойный ученый, тогда не попал в число избранных, и ни у кого не хватило совести обратить на это внимание.

Киргизия мне не особенно нравилась. Горы, конечно, великолепны, порою сказочно прекрасны, но путешествовать по ним можно только разве на лошади, а на машине не везде подберешься. Изумительно озеро Иссык-Куль, в те времена еще не испакощенное хозяйственной, вернее бесхозяйственной, деятельностью. И всё же я из Киргизии часто ездил в пустыни Казахстана, благо имел свою машину. Для меня, натуралиста, имела большое значение подвижность. Несмотря на тяжкую жару летом и немалые морозы зимою, пустыня прельщала разнообразием животных и растений, открытостью ландшафта, яркими особенностями приспособления жизни к условиям существования, да и своеобразием и необыкновенными просторами, раздольем и легкой доступностью путешествий на автомобиле. И сколько интересных мест еще осталось в Семиречье, и в каждом такие замечательные находки и маленькие энтомологические открытия.

В Киргизии мне удалось немного поизучать насекомых - обитателей Тянь-шанской ели, здесь я впервые заинтересовался муравьями и открыл, в частности, язык сигналов у большого муравья древоточца красногрудого. Мне посчастливилось открыть редчайшее явление размножения в стадии куколки у загадочной бабочки-улитки, обнаружить развивающегося только зимой саксаулового грибкаеда...

Также как и в Алма-Ате квартиры мне не дали, мыкался по частным домам. И здесь не обошлось без неприятных личностей. Здесь к науке относились только с утилитарной стороны, требовали прежде всего результатов, имеющих практическое значение. Но получалось так, что и для науки и для практики требовались таланты и серьезные ученые. А чтобы удовлетворить запросы начальства, всячески афишировали свою работу, писали дутые отчеты, то есть занимались тем, что так вошло в жизнь и стало называться вежливым словом "приписки".

У меня, конечно, нашлось слабое место. Заниматься этими приписками не мог, не скрывал своё увлечение изучением биологии насекомых, полагая, что и этот путь дает как всегда неожиданный выход, имеющий практическое значение. Вообще говоря, приспособиться к требованиям начальства не так уж и трудно, главное, чтобы тема звучала, от неё веяло практикой. А там, что выйдет. Фрунзе мне не нравился, уровень культуры ученых в то время был невысок. Здесь я бы мог себя заставить постепенно приспособиться, через десяток лет добиться званий и соответственно повышенной зарплаты. Докторов наук в Киргизии было совсем мало, но всё это меня не прельщало. Через два с половиною года я распростился с Киргизией, приняв предложение Томского университета заведовать кафедрой зоологии беспозвоночных с сентября 1956 года после прохождения конкурса, как тогда полагалось.

Незадолго до отъезда из города Фрунзе я простился со своим маломощным "Москвичом", решил приобрести машину побольше, сильнее. Но "Победу" уже стало купить трудно, спекулянты требовали за неё двойную сумму - 40 тысяч (по старым ценам до девальвации). Ждать же в очереди предстояло несколько лет, в то же время в продаже свободно стояли машины ЗИМ, большие, семиместные, комфортабельные. Долго я мучался сомнениями, прежде чем совершить покупку, собрал все сбережения, прибавил деньги, полученные мною при расчете в институте, в том числе и за два неиспользованных отпуска, купил эту машину, удобную для пассажиров и очень тяжелую для водителя по бездорожью. Так и поехал всей семьей из города Фрунзе до самого Томска, испытывая мучения по дороге от сбегавшихся со всех сторон в селах людей, впервые видевших этот лимузин в столь непроходимых и глухих местах. Квартиру я в Томске получил большую, но в очень плохом доме с корридорной системой и без удобств. В этой квартире я тотчас завел муравейник и вел над ним наблюдения.

ТОМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Старинный Томский университет в какой-то мере сохранил традиции старой интеллигенции. Мне нравилась педагогическая работа, к ней не привыкать. Кое-какой опыт уже имелся по школе и медицинскому институту. Нравилось и работать с молодежью, народом чистым, еще не испорченным жизнью, искренним, сохранившим нравственность и какие-то идеалы. Вскоре возле меня стали группироваться студенты - любители природы, вместе со мною заинтересовавшиеся муравьями. Изучению природы Сибири я посвятил свою жизнь в Томске, благо особенного давления на практическую сторону деятельности преподавателей, как ученых, не было. Со студентами мы часто ходили в лес, особенно зимой на лыжах. В лесу расчищали площадку от глубокого снега, разжигали костер, кипятили чай, завтракали, иногда раскапывали муравейники.

До меня никто зимовкой муравьев не интересовался. Под глубоким снегом, оказывается, почва почти не промерзала от лютых морозов, и муравьи успешно переносили это трудное время года. Лекции давались нелегко, так как я никогда не писал заранее их тексты и не читал, как это делали многие преподаватели, говорил экспромтом. Курс зоологии беспозвоночных изобилует величайшим множеством мелких фактов. Иногда любил пошутить по тому или иному поводу, и аудитория, набившая оскомину на скучных лекциях, отзывалась громким и благодарным смехом, шокируя и повергая в изумление преподавателей кафедры, слышавших через тонкую стенку необычное оживление своих воспитанников.

В университете, как реликты прошлого, еще держались старые работники, бесконечно преданные своему делу, честные, бескорыстные. Вспоминаю их с восхищением. Среди них выделялась беспредельной любовью к своему делу ботаник, заведующая отличнейшим гербарием, Лидия Палладиевна Сергиевская. Строгая вегетарианка, всегда бледная, изнеможденная трудом и неполноценным

питанием, она вызывала симпатию, сочувствие и даже сострадание. Университет был беден. Большим трудом, повздорив с начальством, добился приобретения осветительных ламп к микроскопам, без них невозможно работать, не испортив зрения. На мои бесконечные просьбы об их приобретении не обращали внимания, специальный же рапорт в письменной форме мгновенно вызвал отчуждение и недоверие проректора. Портить отношения с начальством ради благополучия студентов не полагалось.

Я был убежден, что биолог должен уметь рисовать, поэтому, добившись небольших средств, приобрел различные скульптуры из Москвы. На кружок рисования повалило много студентов, они с энтузиазмом принялись за интересное для них дело, разнообразившее монотонность учения. Руководить рисованием приходилось мне. Через два года удалось добиться ставки профессионала художника, назначив его руководителем.

Многие преподаватели кружок рисования восприняли с враждой и при случае отпускали нелестные реплики. Почему? Не знаю. Печалил противоестественный отбор: студентов явно способных и талантливых в университете не оставляли, посылали на педагогическую работу. Будущие кадры преподавателей университета готовили из послушных, покладистых, посредственных. Каждый преподаватель старался подольше остаться незаменимым.

Сильно увлекся природой Сибири, изобилием в лесах муравьев. Но моя машина была негодна для путешествий по сибирскому бездорожью. Снова приобрел мотоцикл, сперва самый маленький К-124, потом посильнее К-175, а в последние годы в Томске купил мотоцикл ИЖ с коляской. Путешествия по глухим лесным тропинкам доставляли самое высокое наслаждение, которое я когда-либо испытал в своей жизни. Едва освободившись от занятий, садился на мотоцикл и мчался в лес, - он располагался совсем недалеко, почти рядом, за рекой и виднелся из окон университета. Природа города Томска тогда находилась в отличнейшем состоянии, девственные леса оставляли прекрасное впечатление, даже вблизи от города. Я вел постоянные наблюдения за муравьями. Одно лето выдалось необыкновенным по изобилию комаров. Тогда я мог наблюдать тот или иной знакомый мне муравейник не более получаса, так как возле меня слеталась целая куча злых кровопийц. Тогда я вскакивал на мотоцикл и мчался подальше от своих мучителей к другому знакомому муравейнику. Долгие часы, дни на складном стульчике я просиживал над муравейниками, с усердием добывая обильный материал по поведению этих удивительных созданий, материал, в который часто плохо верили ученые, проводившие большую часть своей жизни в кабинетах за столами, а не в поле.

За мои постоянные путешествия меня сильно недолюбливали преподаватели. Жил я во дворе университета, и треск моего мотоцикла привлекал внимание недоброжелателей. Удивительна порода человеческая: если бы я не увлекался природой и всё свободное время занимался чем попало, никто из моих коллег не обращал бы на меня пристального внимания. Знал я это хорошо и поэтому избегал общества. Но с несколькими дружил и был откровенен. Когда же я на третий-четвертый год жизни в Томске выпустил книжечку о природе Сибири ("Мир шестиногих", Новосибирск, 1959 г.), а за нею - небольшую

книжечку о насекомых ("Бриодемус музыкант", Томск, 1962 г.), то на меня тем более стала коситься наша застывшая в извечном покое будней ученая публика. В общем и здесь я оказался белой вороной.

Летние каникулы в университете большие. К двум месяцам законного отпуска прибавлялся месяц в конце лета, когда студенты занимались на сельскохозяйственных работах по уборке урожая. Можно было выкроить время и раньше, соответственно подогнав свою учебную работу. Сперва меня сильно тянуло обратно в Среднюю Азию, на юг, к жаркому солнцу, отвыкнуть от него оказалось не столь просто. Тянуло постоянно, инстинктивно, и чтобы ослабить это чувство я завел в квартире даже кварцевую лампу. Но и она не помогала. Окончательно акклиматизировался я в Западной Сибири только к концу пятого года жизни здесь.

В первое же лето я помчался в Казахстан сразу же после майских праздников. Здесь на уютной лодочке, складной байдарке, вместе с одним студентом спустился по реке Или. Об этом путешествии сохранились воспоминания.

Изучая в Томске муравьев, я прежде всего уделял внимание наиболее интересному и многочисленному из них - рыжему лесному муравью, защитнику леса от насекомых-вредителей, а путешествуя на байдарке по реке Или, искал его родственника степного муравья, водящегося и в тугаях среднеазиатских рек. И поразился его почти полному отсутствию.

Очень интересные наблюдения были проведены на больших муравьиных городках лесного рыжего муравья. В его образе жизни оказались крайне удивительные приспособления в поведении, направленные на предотвращение внутривидовой вражды в условиях перенаселенности. Глубокой осенью, когда выдывался теплый день, часть населения каждого муравейника переселялась в муравейники соседние! Этот взаимный обмен рабочими препятствовал враждебным отношениям разных семей. Интересны были также открытые мною муравьи-наблюдатели, разведчики, а также таинственные муравьи, условно названные мною "игроками", у этого же вида. К сожалению большая монография об этом виде рыжего лесного муравья осталась неопубликованной до сего времени.

Два года подряд, мучаясь на своём дредноуте или, как его я окрестил, "крокодиле", попутешествовал в Красноярском крае, по Туве, Хакасии, в то время еще сохранявшим прекрасную природу. Особенно интересной была Тува с удивительным колоритом и контрастами в сочетании тайги, степей, полупустынь и могучего Енисея. Дороги находились в ужаснейшем состоянии, и мои помощники студенты трудились изо всех сил вместе со мною, вытаскивая застрявшую в грязи машину. Зато посещение незнакомых мест доставляло величайшую отраду. Что может быть прекрасней природы для человека: веселого березового леса у тихой лесной речушки, торжественного соснового бора, дремучего, насупленного в молчаливом торжестве, елового леса, раздолий степей и полупустынь, разукрашенных травами, скалистых хребтов Алтая и рек Оби, Енисея, Катуни!

Но скрытая недоброжелательность ближайшего окружения постепенно надоедала. Много недоброго совершала против меня бывшая заведующая

кафедрой, женщина лукавая и желчная, не сумевшая стать доктором наук. И зачем? Вскоре после моего отъезда, в сравнительно молодом возрасте, она погибла от рака. Наблюдая это людоедство, я часто думал о том, что каждому из нас полезно кое-когда бывать на похоронах и немного интересоваться археологией, читать быть может и Экклезиаста, чтобы осознать бренность и краткотечность нашей жизни, попусту растрачиваемой на никчемную и пожирающую душевные силы вражду. Удивительное создание человек! С одной стороны он неуживчив в силу своих пороков, с другой - не может жить вне общества себе подобных, как общественное животное. В жизни я всегда старался уходить от всяческого людоедства, сохраняя силы для творчества. Но сторонясь окружающих, еще больше возбуждал недоверие и неприязнь. В своих жизненных неудачах был повинен, конечно, я сам, не умея скрывать своих чувств, нелюбви к тем, кого не уважал.

Кто-то тайком восстановил против меня декана биофака. В это время меня усиленно стали приглашать во Владивосток в возрожденный ДВ филиал Академии наук, а также тянуть обратно в Алма-Ату. Президент Академии наук Казахстана К.И. Сатпаев предложил возвратить меня обратно. И, несмотря на неприятности, не покинул бы я Томск или поехал бы на свою родину на Дальний Восток, если бы имел возможность путешествовать на машине-вездеходе.

Бедная наша действительность! В то время никак нельзя было купить автомашину для плохих дорог. И всё же я готовился ехать во Владивосток, но вмешалась супруга, её тянуло обратно в Алма-Ату. Жалею до сих пор своего возвращения!

Томск страдал от плохой воды. Кемерово, промышленный город, травил реку Томь фенолом, в ней погибла рыба, кроме мелкого бычка. Вода в этой реке неприятная, непригодная для питья. Впервые попавшие в город студенты не могли её пить и пытались утолить жажду газированной водой. Привкус фенола в воде чувствовался очень сильно, иногда он становился просто невыносимым. Люди молча терпели, тогда о какой-либо самой невинной гласности приходилось только мечтать. Лица у всех преподавателей были желтоватые, по-видимому, от хронического отравления водой. На третий год жизни в Томске я нашел выход, стал ездить по воду в лес, брал её из лесной речушки. Удивлялся, почему мне не последовали сослуживцы, имевшие машины. Для поездок по воду зимой использовал мотоцикл с коляской. Он прекрасно заводился даже при 25 градусном морозе.

И СНОВА АЛМА-АТИНСКИЕ БУДНИ...

Переезжал в Алма-Ату уже не на своём ЗИМе. Машину погрузил на платформу и поехал вместе с нею по железной дороге. Квартиру сперва получил временно на краю города в институте защиты растений, потом дали другую в городе, а через год предоставили во вновь отстроенном доме. При существовавшем в то время жилищном кризисе мне повезло, за меня ходатайствовал почему-то питавший ко мне симпатию вице-президент академии Полосухин.

Началась новая жизнь в старом коллективе, руководимом всё тем же директором института, с экспедициями, как на своей машине, так и кое-когда на казенных грузовиках. Впоследствии, я часто себя упрекал: зачем возвратился в неприятную обстановку, почему не поехал на свою родину Дальний Восток? Его я так хорошо знал! Конечно, я бы мог бороться со своими противниками, но предпочитал отдаление.

После Томска я проработал в институте зоологии менее двух лет. Из института зоологии я перешел в институт защиты растений на вакантное место заведующего лабораторией изотопов. В те годы происходило повальное увлечение радиобиологией. Изотопы внедрялись туда, где не следовало, в том числе и в сельское хозяйство и службу защиты растений. На меня возложили организационные дела, строительство лаборатории, получение специального оборудования, набор и устройство на специальные курсы сотрудников. Кроме того, я начал развивать тематику биологического метода борьбы с сорняками, как противопоставление небезвредному химическому методу. Дело было интересное, новое. От всего этого у меня оставалось время, директор благоволил ко мне, и, главное, удавалось ездить в экспедиции по сбору материалов. Пробыл я на этой работе пять лет, как-то и протекли они удивительно быстро и незаметно. Как говорится, правда рано или поздно выплывает на поверхность (скептики утверждают, что выплывает уже в виде утопленницы), высокому начальству стало известно, что мой уход из института зоологии был результатом интриг, и меня вновь пригласили обратно в институт. Возвращение моё происходило, как полагалось, по конкурсу с непременно тайным голосованием.

После института защиты растений я проработал в институте зоологии двенадцать лет, испытав разные перипетии судьбы.

Наука, главным условием существования которой был поиск истины, стала превращаться в свою противоположность, в ней начинала процветать беззастенчивая дезинформация, принимавшаяся всеми как должное в нашей жизни. Ко всему этому очковтирательство стало прикрываться заумной фразеологией, злоупотреблением терминами, туманными определениями, наукообразием и так называемым ложным академическим стилем. Ясное выражение множества идей в немногих словах стало редчайшим явлением.

И еще расцвело удивительное явление: бездарные и к тому же недеятельные так называемые ученые, приспособившись, собирая отовсюду крохи дел и мыслей из чужих источников, рано или поздно стряпали подобие монографий, диссертаций, к тому же заводя одновременно полезные связи, обеспечивая защиту своих творений. А потом теми же путями добивались ученых званий, прибыльных в денежном отношении, в положении членов-корреспондентов и академиков. А какой начинался ажиотаж, когда назначались выборы на вакансии членов этих званий! Сколько разыгрывалось склок, подсиживаний, использования высокопоставленных покровителей с их правом "телефонного звонка". Вот где разыгрывались родственные, вернее даже родовые связи!

Когда я стал публиковать свои научно-художественные книги, меня на заседании совета Союза писателей Казахстана в 1965 году приняли в члены этого союза. Книги отнимали у меня массу душевной энергии и сил, вовсе не потому, что прежде чем что-либо написать, приходилось собирать свой собственный материал о жизни животных. Всюду в издательствах царил безраздельный редакторский произвол, примитивная политиканская перестраховка, даже в природоведческой литературе. Царила безжалостная, тупая и чаще всего бессмысленная и вредная всеильная цензура, называвшаяся закодированным словом "Главлит". Иногда этот произвол вызывал отчаяние, опускались руки, и хотелось всё бросить и не мучать себя дополнительным творчеством.

Для примера приведу лишь несколько фактов редакторской правки, от которой всегда и всюду страдал. В рукописи "Мой веселый трубочик", в очерке о пчелке-кукушке, пытавшейся подбросить своё яичко в гнездо одиночной пчелы, была такая фраза: "На дороге крутится возле норки пчелы-мегахиллы пчелакукушка в вызывающе наглой красной одежде". Редактор на полях ставит директивную помету: "так нельзя писать, красный цвет - цвет революции!" (издательство "Кайнар"). Не сдержавшись, я сказал ему, что вот ведь даже у обезьяны мартышки зад красный.

В журнале "Наука и жизнь" в очерке о муравьях описываю, как маленькие и большие муравьи откапывают заваленного землю товарища. Редактор дополняет "маленькие, которые еще не успели подрасти". В присланной мне верстке объясняю, что взрослые насекомые уже не растут, а у муравьев рабочие обладают разными размерами. Редактор - хозяин положения, он всегда прав, для него мои объяснения неубедительны, его правка остается. После этого мне приходит письмо читателя со словами: "Хотя вы и профессор, но в энтомологии ничего не понимаете".

Многие мои коллеги вообразили, что на своих книгах я зарабатываю большие деньги и вообще ради денег и пишу, хотя часть своих книг печатал в академическом издательстве "Наука" без гонорара, доставляя денежные прибыли чиновникам, а в остальных издательствах, таких как "Кайнар", "Сельхозлитература" и "Казахстан" ставки низкие. Все издательства, кроме того, литературу научно-популярную и научно-художественную считали не своей. Сколько же денег я истратил на путешествия на своём транспорте, изъездив четыре мотоцикла и пять автомашин, работая по стоящей в плане институтов тематике, никто не учитывал. Кстати сказать, никто никогда не пользовался своими машинами по служебным делам, все старались как можно более вытащить денег с государства. И получалось так, что я был виновен в том, что к труду относился с увлечением, работал как вол, дорожа каждой минутой времени, и писал книги, желая рассказать широкому кругу читателей о романтике путешествий, любви к природе, поисках нового в науке, о радости творчества.

Ученый обязан быть энтузиастом своего дела. Без энтузиазма он мертв, превращается в паразита, угодника и приспособленца. И что скорбнее всего, подобная порода людей способна охаивать свою страну, объясняя свои неудачи её недостатками и лихо используя её законы ради своего блага.

Я не смог бы выжить, если бы не лето, когда все разъезжались по экспедициям, и, занимаясь исследованиями на природе, постепенно выздоравливал, очищая свою душу от скверны службистики...

ЖИЗНЬ ПЕНСИОННАЯ

В то время я благоденствовал, обменяв своего "крокодила" на старенький вездеход ГАЗ-69. Мой старый газик-вездеход доставлял мне немало хлопот с ремонтами, но зато продолжал меня возить по лесам, горам, степям и пустыням Казахстана. Почти каждый год я посещал озеро Балхаш, этот величественный уголок природы среди опаленной зноем пустыни. Сейчас он катастрофически высыхает, его губит Капчагайское водохранилище, а мою большую книгу о Балхаше никто не желает опубликовать. Понравились мне и горы Центрального Казахстана. Вздумал посетить неизвестные ученым острова Балхаша и на своём газике с резиновой лодкой и моторчиком к ней совершил, пожалуй, самое отрадное в жизни путешествие по суше и по "морю". Описание этого путешествия пролежало три года в издательстве "Жалын", получило одобрение, но неожиданно в публикации было отказано. Взяло рукопись другое издательство - "Казахстан", тоже получило одобрение, затратив на всю волокиту два года, но неожиданно рукопись в 450 страниц о Балхаше под названием "Забывтые острова" из издательства таинственно исчезла. После этого Москва издала книгу, потратив всего год на подготовку к изданию ("Забывтые острова", Москва: Мысль, 1991 г.)

В 1981 году, полный здоровья, сил и замыслов ушел на пенсию. Никто меня к этому не принуждал. Принялся за свои рукописи 19 книг, одна из которых трехтомная, другая - двухтомная. В них моя главная работа пенсионного периода. Трещусь над ними и сейчас, когда уже начну разменивать сотый год жизни. Очень много сил потратил на обыденную черновую работу - перепечатку на машинке, по многу часов в день, как-то не представляя себе жизнь без труда. В жизни вообще всего лишь раз был в санатории в Боровом и даже там, чтобы не скучать, написал небольшую книжечку. Увижу ли я рукописи опубликованными, нет никакой надежды при полном развале издательского дела и потере читательского спроса.

ИТОГИ ТРУДА

Заканчивая воспоминания, хотелось бы кратко перечислить всё мною сделанное. Вся жизнь моя прошла в труде, и никто беспристрастный не станет этого опровергать. Так называемая личная жизнь моя была поглощена творческой, и был я в ней неумел, непредусмотрителен и недалёковиден. Я безраздельно и бекскорыстно любил свой труд, и не было у меня устремления использования его для материальных благ или, как говорят, для карьеры. Её я не признавал для какого-либо продвижения по служебной лесенке, и само это слово для меня всегда казалось оскорбительным. И эта любовь осталась у меня до глубокой старости. Любовь к труду, творчеству, одновременно со скрупулезно

выработанной экономией времени и постоянным ощущением боязни пустой его траты, мучает меня и сейчас, когда трудоспособность падает, сил становится с каждым годом всё меньше, и, к несчастью сложившейся жизни, оставшись в одиночестве и без семьи, обязан заботиться о своих, сведенных до минимума, бытовых потребностях.

Всего я опубликовал 136 научных статей и две монографии, пятьдесят научно-художественных книг и 56 статей в научно-популярных журналах, 221 газетную статью. На мои публикации появилось в печати более 150 мне известных откликов.

Сейчас у меня подготовлено к печати восемнадцать книг, одна из которых двухтомная, другая – трехтомная. Моя последняя книга - философская, написанная на 87 году жизни, только что закончена и ожидает всё время напрашивающихся новых дополнений. Её название "Великий парламент инстинктов (кто мы и куда мы идем)". В этой книге - всё, что мог сказать натуралист, всю жизнь отдавший изучению животных и не чуждавшийся познания судеб человеческого общества.

Почти все мои книги опубликованы в Алма-Ате, одиннадцать в Москве, по одной в Новосибирске и Томске, две в Красноярске.

Трудности публикации в Алма-Ате заставляли слать рукописи в Москву. И они там выходили быстрее и большим тиражом, а несколько из них получили премию на Всесоюзном конкурсе научно-популярной литературы. Одна даже получила первую премию.

Популярное изложение науки, описание путешествий и научных поисков имеют большое просветительское и общеобразовательное значение. Публикуя свои книги, я часто вспоминал слова К.А. Тимирязева - "Я работаю для науки, а пишу для народа".

Немало времени отнимала общественная работа, направленная на защиту природы, особенно в начале "перестройки". Потом, фактически, эта тема исчезла или заменилась болтовней. Постепенно с природой утратилась связь, переродилась нравственно и духовно. Урбанизированное человечество создало искусственную среду обитания и мощные средства уничтожения естественной среды.

Мои газетные публикации были направлены к пробуждению совести и родственного внимания к природе. Ни в одной из них я не касался других сторон жизни. Защищая природу, я нажил недоброжелателей как со стороны коллег, так и со стороны различных ведомств и сильных мира господ, подверженных дефициту компетентности и поверхностным суждениям.

Прежде нам не разрешалось говорить правду, мы научились молчать и лгать, были лишены простейшей свободы личности и прав человека. За нас думало государство, и отчасти этим можно было объяснить, что Сталин, уничтоживший миллионы невинных людей, своих сограждан, оставил над нами след своего проклятого правления. Теперь же, получив свободу слова и печати, хотя и с ограничениями, не умеем ею пользоваться, не прибегая ко лжи, подтасовке фактов и их извращения. Стал развиваться, как его окрестили, грабительский капитализм, на смену одной темноты духа пришла другая. Самые

скверные черты развитого капитализма - власть денег, еще большее расслоение общества на бедных и богатых, невиданный расцвет безработицы.

Увлечение трудом было своеобразным бегством от действительности и как-то так получилось, что я стал жить вне действительности, один с самим собою.

Творчество - высшее счастье и наслаждение, оно приносило удовлетворение жизнью и служило лекарством от невзгод.

Удовлетворен ли я прожитым? При страсти к труду, что дала мне природа, мог бы сделать во много раз больше. Но при деспотизме и тоталитаризме в обществе страдает его творческий потенциал. Сказалось это и на мне. Но мало ли людей, способных и талантливых, с которыми я прошел по жизни, погибло, не реализовав своих возможностей, и могу ли я сетовать на свои жизненные недуги и неудачи, сохранивши жизнь до старости в душевной темнице, в которую была ввергнута наша большая страна вместе с моим невезучим поколением. И всё же, если не быть привередливым и забыть свои жизненные неудачи, я был счастлив, меня спасала любовь к природе и возможность поведать об этом людям. И еще... Силы слабеют, болят износившиеся в путешествиях ноги, ухудшается зрение и, несмотря на это, так много впереди планов и незаконченных дел, что их реализация потребовала бы еще хотя бы один, теперь уже вряд ли возможный, десяток лет труда.

Примечания

1. Уезд входил в Подольскую губернию с губернским городом Каменец-Подольский.
2. Здесь смешаны события, произошедшие в разное время. Нападение в Николаевске (а не в Никольск-Уссурийске) произошло раньше – в ночь с 11 на 12 марта. Личности Тряпицина и Лебедевой оценивались всегда неоднозначно, описание событий в Николаевске также не соответствует историческим документам.
3. Жан Жак Элизе Реклю (1830-1905) - французский географ и историк, член Парижского Географического общества, убежденный вегетарианец и анархист. Всемирно известный труд Реклю «Земля и люди» в 19 томах был издан в России товариществом «Общественная польза» в 1898-1901 гг.
4. Судза, или перилла базиликовая – масличная культура.
5. С 1972 года река Спасовка.
6. На самом деле Никольск-Уссурийский (с 1898 до 1935 г). Город был переименован в Ворошилов 20 февраля 1935 года.
7. Имеется в виду тофу - пищевой продукт из соевых бобов.
8. Сейчас город Партизанск (с 1972 г.)
9. Дальневосточный государственный медицинский институт был создан в 1929 году. Занятия начались осенью 1930 года.
10. С 1972 года бухта Рудная.
11. Винтовка Бердана не была первой винтовкой, принятой на вооружение Русской армии.
12. Ильмы, или вязаы - деревья рода Ulmus.
13. Д-р Целль «Ум животных»; пер. с нем. Д.Л. Вайса, под ред. В.В. Битнера. - Санкт-Петербург: Издание редакции "Вестника Знания", 1905. - 144 с. Отзыв, написанный Е.А. Елачичем, на книгу Целля «Разумно ли животное?», вышедшую в 1912 году в издательстве К. Тихомирова в Москве (или другой перевод той же книги?), можно прочитать здесь - http://az.lib.ru/e/elachich_e_a/. Есть также книга другого автора с таким же названием - Джорж Роменс «Ум животных». - С.-Петербург, 1888. – 513 с.
14. Скорее всего, имеется в виду полуостров Янковского.
15. Шахрисабз – один из древнейших городов Центральной Азии, до XVI века известный под согдийским названием Кеш.

16. Точное название в те годы – «Известия Всесоюзного географического общества».
17. Точная цитата – «поражу пастыря, и рассеются овцы стада».
18. Муравьеды обитают в Центральной и Южной Америке, в Африке встречается трубказуб, по внешнему виду схожий с муравьедами.